

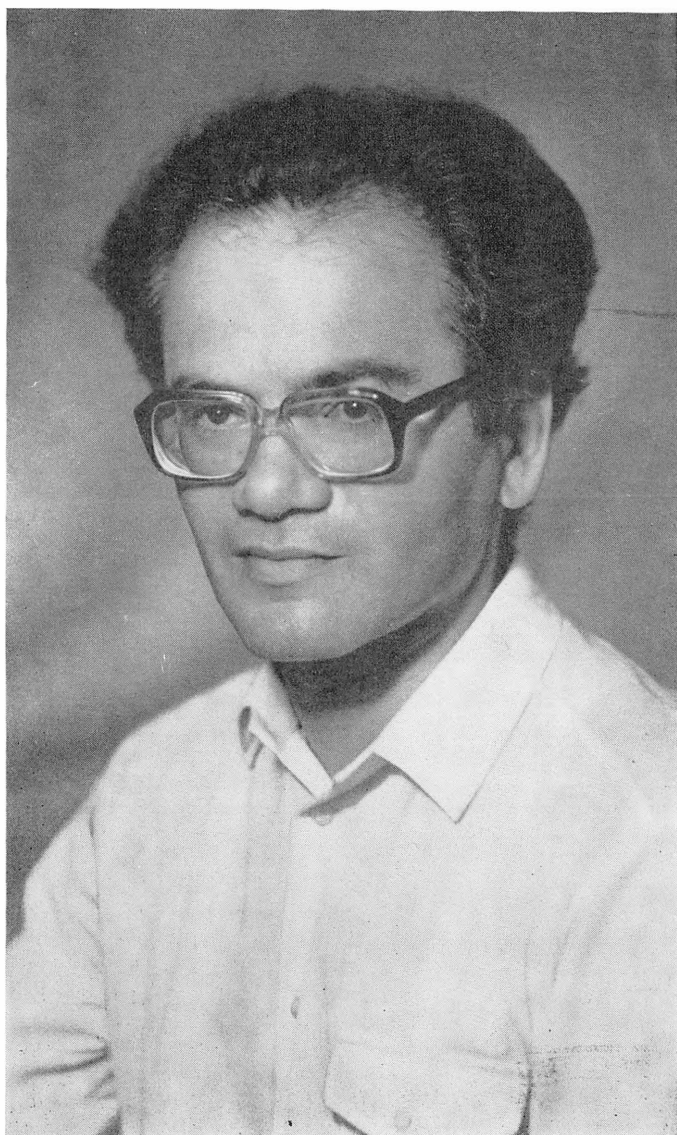
◆
||| АЛЕКСАНДР КУШНЕР ◆



◆
||| СТИХОТВОРЕНИЯ ◆

◆
АЛЕКСАНДР
КУШНЕР

СТИХОТВОРЕНИЯ



АЛЕКСАНДР
КУШНЕР



СТИХОТВОРЕНИЯ



ЛЕНИНГРАД
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1986

ББК 84.Р7
К 96

Предисловие
Д. С. ЛИХАЧЕВА

Оформление художника
В. Б. МАРТУСЕВИЧА

К 4702010200-056 79—86
028(01)-86

© Предисловие, состав. Издательство
«Художественная литература», 1986 г.

Существуют два поэтических отношения к миру: одно — полное самораскрытие и самоотдача, а второе — как бы объективация этой самоотдачи, введение собственного чувства в рамку некоей поэтической картины, существующей вне поэта. Это последнее — объективация — сродни некоторой иронии, отстранению от изображаемого в стихах и от самих стихов. В ранних стихах Александра Кушнера такое легкое ироническое отношение к своей теме постоянно присутствует. Оно, конечно, не столь резкое, как в «Столбцах» Николая Заболоцкого, но оно все же есть. «Графин», «Рисунок», «Над микроскопом», «Шашки» — эти темы поэт выбирает словно бы для того, чтобы учиться видеть мир, как учится на натюрмортах зрелый художник.

Сам Кушнер вспоминает:

И критик шелковый
 Обозначал мой крен:
 Ларец с защелками
 И Жан Батист Шарден.
 Все это схлынуло.
 Стакан, графин с водой
 Жизнь отодвинула
 Как бы рукой одной...

И в самом деле: со временем сквозящее во всем его пристрастии к «натюрмортам» ироническое отношение к своим стихам, своеобразная стыдливость быть поэтом становились все менее заметны.

В то же время характерно, что поэтические темы у Кушнера часто взяты в рамку прошлой жизни, истории, чужих биографий, обращений, прощаний, а когда он пишет о себе, то делает это в форме, как бы скрывающей его собственную жизнь. То это воспоминание, то предугадывание будущего, то раздумье над свершившимся, то диалог с действительностью, то, наконец, воображение.

Я с легкостью смотрю
 На снимок давних лет.

«Вот кресло,— говорю,—
Меня в нем только нет».

Кушнер скрывается, но не за иронией, а за всей «чужой» жизнью, через чужое выявляя себя. И это чужое — не привычное, а «свое», то есть необычное для других. Про знакомый ему только по репродукциям «Ночной дозор» Рембрандта он пишет, обращаясь к капитану «Ночной стражи»:

Капитан мой! То художник.
И клянусь, чуднее нет.
Никогда не знаешь сразу,
Что он выберет сейчас:
То ли окорок и вазу,
То ли дерево и нас.
Не поймешь по правде даже,
Рассмотрев со всех сторон,
То ли мы — ночная стража
В этих стенах, то ли он.

В этом стихотворении, оживляющем картину Рембрандта «Ночной дозор», рамка условная превращается в рамку вполне реальную: это рама, в которой изображенное, как в «Портрете» Гоголя, становится действительностью, перемешивается с ней, и оказывается возможным разговор автора с персонажем картины.

Здесь уместно сказать вот еще о чем.

Бывает, что вокруг поэтов складываются мифы. Кто-то придумывает исходную тему, она постепенно разрастается и обволакивает истину, которую становится трудно разглядеть.

Об Александре Кушнере пишут много, интересно. Однако довольно часто звучит мотив: Кушнер типично ленинградский поэт, а Ленинград — это город строгих дворцов, крепких ветров, город, застегнутый на все пуговицы. Город прямо держится в своих проспектах и улицах, а поэт бродит по нему в официальном черном костюме, классический и традиционный.

Кушнер, конечно, ленинградец. Да Ленинград не совсем такой, каким представляют его себе неленинградцы. Наш город — это особая и далеко не простая тема. Его прошлое содержит немало классических трагедий, — трагедий, разворачивающихся на фоне классической архитектуры. И он отнюдь не только европейский город, он стоит на перепутье между Европой и Азией. Среди прямых улиц выются каналы, среди дворцов и особняков лепятся друг к другу доходные дома. С «Медным всадником» соседствует «Пиковая дама», а далее следуют «Идиот» и «Поэма без героя».

Поэт открывает в городе совсем не то, что, например, замечает в нем приезжий: не только прямоту улиц, но также их кривизну и беспорядочность; не только проспекты, но и переулки; не одну Неву, но и каналы,

и речки. Для Кушнера и Эрмитаж — это не столько музей знаменитейших французских полотен и «Мадонны Литты», сколько «малых голландцев» и не всегда известных широкому зрителю рисунков французских старых мастеров XVII века. Такой, непарадный Ленинград показан в стихотворении «Сон»:

Я ли свой не знаю город?
Дождь пошел. Я поднял ворот,
Сел в трамвай полупустой.
От дороги Турухтанной
По Кронштадтской... вид туманный...
Стачек, Трефолева... стой!

Как по плоскости наклонной,
Мимо темной Оборонной.
Все смешалось... не понять...
Вдруг трамвай свернул куда-то,
Мост, канал, большого сада
Темень, мост, канал опять...

Вот еще одно:

Вижу, вижу спозаранку,
Устремленные в Неву
И Обводный, и Фонтанку,
И похожую на склянку
Речку Кронверку во рву.

И каналов без уздечки
Вижу утреннюю пруть,
Их названья на дощечке
И смертельной Черной речки
Ускользящую нить.

Слышу, слышу вздох неловкий,
Плач по жизни прожитой,
Вижу Екатерингофки
Блики, отблески, подковки,
Жирный отсвет нефтяной.

Вижу серого оттенка
Мойку, женщину и зонт,
Крюков, лезущий на стенку,
Пряжку, Карповку, Смоленку,
Стикс, Коцит и Ахеронт.

В этих стихах каждое слово значительно, и все напоминает далеко не прямолинейно о городе, связанном и со злыми судьбами литературы. На Черной речке погиб Пушкин, на Пряжке умер Блок, на берегах Смоленки он был похоронен, на Кронверском рву повешены декабристы.

Обводный славился своими преступлениями, а на Фонтанке — чего там только не было и кто только там не жил... И отнюдь не случайно список ленинградских речек и каналов заканчивается роковыми реками греческой мифологии.

Трагедией настоящего все это было для Гоголя, Достоевского, Блока (вспомним его: «...ледяная рябь канала»). Отсвет этих трагедий живет в поэзии Кушнера.

Есть, впрочем, у него одно стихотворение, где представлен весь парадный Петербург в Ленинграде. Это замечательное стихотворение называется «Пойдем же вдоль Мойки, вдоль Мойки...». Маршрут поэта от Марсова поля до Новой Голландии. Здесь названы и показаны все известнейшие места Петербурга. Установка на «известнейшие» заявлена прямо — «Пойдем же вдоль стен и колонн, с лексической яркой окраской от собственных этих имен». Но кончается оно указанием на преодоленное страдание:

И может быть, это сверканье
Листвы, и дворцов, и реки
Возможно лишь в силу страданья
И счастья, ему вопреки!

Лирический сюжет в стихах Кушнера прочно прикреплен к сегодняшнему городскому пейзажу и немыслим без него. По этим улицам мы ходим, в этих старых и новых районах живем. Поэту дороги и «здание Главного штаба», похожее «на желтой бумаги рулон», и трамвай, въезжающий «в жилмассив, где мириады высвечены окон», он «коллекционирует» «влажные ленинградские окна» в квартирах своих знакомых и друзей, выходящие на Марсово поле, на Карповку, «на Лиговку, на порт, на новостройку за ласковой Поклонною горой...». Человек в этих стихах живет не вообще в городе, а постоянно осознает свое точное местоположение в городском пространстве, в любую минуту своей жизни точно знает, где он находится (и в самом деле, это свойство так знакомо всем горожанам): в Таврическом саду, или «на узком Банковском мосту с настилом деревянным», или «меж Невкой и Невой, вблизи трамвайных линий и мечети». Подробности делают поэзию убедительной. Человек в стихах Кушнера не представляет себе жизни и судьбы вне этих конкретных, любимых с детства реалий:

...Но не отдаст недуг сердечный свой,
Зарю и рельсы блещущие эти
За те края, где льется ровный свет,
Где не стареют в горестях и зимах.
Он и не мыслит счастья без примет
Топографических, неотразимых.

Но, что очень существенно, — в стихах А. Кушнера постоянно присутствует связь Петербурга — Ленинграда со всей страной, со всем

миром. У себя в комнате, ночью, он ощущает за спиной огромные пространства «от Львова до Обской холодной губы».

Невы прохладное дыханье
И моря Черного простор.
Для русской музы расстоянья
Меж ними нету с давних пор.

Постепенно условная рамка уходит из книг Кушнера, остается сама жизнь, реальность, действительность, в том числе и разрушающая прежнюю иронию трагедия. Ибо и у древних греков трагедия пробивалась через обыденность (в этом ведь и сущность трагедии; она рождается, когда взрывает обыденность, уносит эту обыденность с собой в общечеловеческую высь).

Все чаще наряду с ленинградскими пейзажами входят в его стихи мотивы воображаемых мест, городов, столетий: существующих, бывших, но для поэта только преображенных в некие символы вселенной.

Венеция, когда ты так блестяшь,
Как будто я тебя и вправду вижу...

Или:

Четко вижу двенадцатый век.
Два-три моря да несколько рек...

А вот стихотворение, которое дает этой тенденции осмысление:

Жизнь чужую прожив до конца,
Умерев в девятнадцатом веке,
Смертный пот вытирая с лица,
Вижу мельницы, избы, телеги...
Пригождайся нам, опыт чужой,
Свет вечерний за полостью пыльной,
Тишина, пять-шесть строф за душой
И кусты по дороге из Вильны...

Поэт живет не только своей жизнью:

Даже беды великих людей
Дарят нас прибавлением жизни...

Характерно, что в поэзии Кушнера как будто совсем нет лирического героя. Пишет он не от лица вымышленного персонажа и даже не всегда от своего имени. В одном и том же стихотворении он говорит о себе то в первом лице единственного числа, то в первом лице множественного, то во втором, то в третьем лице единственного: «Я люблю эти иглы, веселый морозный ожог...», «...а сегодня попробуем мы ни о чем не тужить и зимой насладиться суровой...», «Так стряхни ж этот снег и, перчатку

надев, помолчи. Не всегда говорит, иногда и разумный — бормочет». Это поэзия и от лица других и для других.

Позволю себе привести здесь одно слышанное мною высказывание: «Любой жест, любое действие в стихах Кушнера может быть присвоено читателем, на которого, как на своего двойника, хочет походить автор. Он не только не ощущает своей исключительности и не стремится противопоставить себя людям, а, напротив, видит себя человеком в уличной толпе, окликнутым для того, чтобы выразить мысль и чувство каждого».

Как и во всякой настоящей поэзии, присутствует в поэзии Кушнера держащаяся на втором плане (тени всегда на втором плане) тема смерти. Свет отбрасывает тени, и без теней «не видно света». Именно поэтому, возможно, для остро ощущающей жизнь поэзии неизбежна всегда таящаяся вдали, на втором плане, «как зернышко на дне», тема смерти. Она характерна для поэзии Державина, Жуковского, Пушкина, Лермонтова, Блока, Маяковского, Цветаевой, Пастернака... Я не сравниваю — я только указываю на значительность этой темы в поэзии. Без нее не воспринять жизни и поэтического одухотворения мира. Смерть, стоя рядом, уступает дорогу для жизни и в поэзии Кушнера. Особенно это заметно в его стихах последнего времени.

Горячая зима! Пахучая! Живая!
Слепит густым снежком, колючим, как в лесу,
Притихший Летний сад и площадь засыпая,
Мильоны знойных звезд лелея на весу.

Вот видишь, не страшны снега, в их цельнокройных
Одеждах, может быть, все страхи таковы!
От лучших летних дней есть что-то, самых знойных,
В морозных облаках январской синевы.

Запомни этот день, на всякий горький случай.
Так зиму не любить! Так радоваться ей!
Пищащий снег, живой, бормочущий, скрипучий!
Не бойся ничего: нет смерти, хоть убей.

Если спросить все же — в чем состоит содержание поэтического одухотворения мира в поэзии Кушнера, то ответить на этот вопрос исчерпывающе невозможно. Поэзия говорит своим языком, не переводимым на другой язык. Можно заметить в ней только отдельные темы — излюбленные, часто встречающиеся, делающие поэтический язык сугубо индивидуальным. Чем глубже поэзия — тем она менее переводима и определена. Кушнер последних, лучших своих книг «Голос» и «Таврический сад» далеко ушел от своих первых стихов, тем не менее сохраняющих для нас свое обаяние.

Главное все же, я думаю, в поэзии Кушнера — его поразительная наблюдательность. Не случайно, размышляя о смерти, которая

никого не минует, он просит ее оставить ему только одно — способность видеть.

Когда когда-нибудь со мною,
Небытие, случисься въявь,
Сотри, смешай меня с землею,
Но зренье, зренье мне оставь!

Повторяю, про Кушнера много было сказано верного и прежде всего то, что он — интеллигент в самом высоком смысле этого слова. Он не только человек обширных знаний — он способен вчувствоваться, способен к перевоплощению, его стихи растут не на голой почве, своими корнями они уходят в культуру прошлого. Кушнер ощущает свою связь с поэтами-предшественниками. В его стихах слышны отзвуки былых поэтических образов, трансформированные и удаленные. Традиция для него — не трафарет для следования, а стимул и импульс творчества, обогащающий его, необходимый для создания нового поэтического мира.

Начав с объективации своего отношения к миру в различных обрамлениях, Кушнер в конце концов пришел к мудрым самораскрытиям, — самораскрытиям необычайной смелости. Вот когда поэзия лирических стихов, не поэм, не описаний, становится кратчайшим расстоянием между поэтом и его читателем (именно читателем, ибо громко декламировать его стихи нельзя: Кушнер не для эстрады). Я приведу одно стихотворение полностью. Это необходимо, чтобы понять, если не последние, нынешние, то еще совсем недавние его стихи:

Быть нелюбимым! Боже мой!
Какое счастье быть несчастным!
Идти под дождиком домой
С лицом потерянным и красным.

Какая мука, благодать
Сидеть с закушенной губою,
Раз десять на день умирать
И говорить с самим собою.

Какая жизнь — сходить с ума!
Как тень, по комнате шататься!
Какое счастье — ждать письма
По месяцам — и не дожидаться.

Кто нам сказал, что мир у ног
Лежит в слезах, на все согласен?
Он равнодушен и жесток,
Зато воистину прекрасен.

Что с горем делать мне моим?
Спи. С головой в ночи укройся.

Когда б я не был счастлив им,
Я б разлюбил тебя. Не бойся!

Страдание в этих стихах — самый сильный знак существования, любить безответно — самое сильное ощущение собственной любви.

Отказываясь писать большие поэмы, Кушнер заявил:

Кратчайший путь — стихотворение
Меж нами...

Этот «кратчайший путь» к сердцу читателя он нашел не только благодаря отказу от поэм и всех других жанров словесного творчества, но и в результате преодоления «иронии натюрморта», укрепления связи с поэтической традицией, переосмысления окружающей действительности.

Кушнер не склонен к декларации и патетике. Но его поэзия стоит на страже нравственности и добра, она нравственна в своей основе, ибо демонстрирует прежде всего добросовестнейшее отношение к поэтическому слову.

...Но лгать и впрямь нельзя, и кое-как
Сказать нельзя — на том конце цепочки
Нас не простят укутанный во мрак
Гомер, Алкей, Катулл, Гораций Флакк,
Расслышать нас встающий на носочки.

Великие тени здесь не все упомянуты: поэт сознает свою ответственность не только перед сегодняшним и будущим читателем. Подключаясь к высокому напряжению мировой поэзии, он помнит о тех, кто стоит «на том конце цепочки», — стремится соответствовать их представлению о поэтическом труде и назначении поэта.

Связь с поэтической традицией, с мировой культурой тем плодотворней, чем сильнее стихи связаны с современностью, чем современной их собственное звучание. Стихи Кушнера живут в сегодняшнем дне, они не могли быть написаны в другое время:

...Каким я древним делом занят! Что ж
Все вслушиваюсь, как бы поновее
Сказать о том, как этот мир хорош?
И плох, и чужд, и нет его роднее!

А дева к уху трубку поднесла
И диск вращает пальчиком отбитым.
Верти, верти. Не меньше в мире зла,
Чем было в нем, когда в него внесла
Ты дивный плач по храбрым и убитым...

Дева, вращающая телефонный диск «пальчиком отбитым», — это муза. За таким сегодняшним занятием мы застаем ее в этих стихах, но волнует ее все то же: защита добра, память о «храбрых и убитых».

Мир предстает в стихах Кушнера не упрощенным, не сглаженным, он требует от человека мужества в отстаивании добра и общечеловеческих ценностей.

...Мигают звезды на приколе.
Россия, опытное поле,
Мерцает в смутном ореоле
Огней, бегущих в стороне.
О чем ночные наши мысли?
Боюсь сказать: о смысле жизни.
Но жизнь, в каком-то главном смысле,
Акт героический вполне.

Для поэта век, в котором он живет, страна, в которой он живет — то есть время и пространство, данные ему от рождения, — дороги и насущно необходимы. Они питают его поэзию, они требуют от человека напряжения всех духовных и творческих сил.

Кушнер — лирик, гражданственность и нравственность его поэзии не вынесены в отдельные стихи, не выпадают в осадок, — они проявляются в его стихах естественно и произвольно. В стихотворении о любви он скажет: «И в следующий раз я жить хочу в России», а в стихах о бабочке, сложившей крылья, заговорит о нравственности и добре:

Может быть, и добро, если истинно, то втихомолку.
Совершенно втайне, оно совершенно темно.
Не оставит и шелку,
Чтоб подглядывал кто-нибудь, как совершенно оно.

Настоящая поэзия не может не быть жизнеутверждающей — ведь она укоренена в жизни, всем обязана ей. Но жизнеутверждающая ее сила убеждает нас лишь в том случае, если поэзия знает о всей сложности и трагичности жизни, не закрывает на них глаза, живет с открытыми глазами. Именно в этом смысле поэзия Александра Кушнера — жизнеутверждающая поэзия.

...И когда б развели тех налево, а этих направо,
Все равно, и в слезах, он примкнул бы к тому большинству,
Для которого жизнь, даже если и боль, и отравы,
То — счастливая боль, так лучи заливают листву!

Поэзия не только убеждает человека в возможности счастья («О, до чего ж эта жизнь хороша и сладка, шелка нежней, бархатистого склона покатай!...»), она и сама вносит счастье в мир. При этом она создает некий «прибавочный элемент» к нашему восприятию действительности, расширяет диапазон наших наблюдений — наблюдений особого свойства, совершенно бескорыстных, не имеющих непосредственного практического применения. Она учит нас по-новому видеть окружающее. И чем шире простирается содержание поэзии, захватившей нас, тем богаче наш опыт, способность к одушевленной ориентации в жизни, тем богаче наша жизнь, тем она значительнее и... радостнее, несмотря на беды,

которые она, бывает, приносит. Любовь, природа, любимый город, родная земля, книги, искусство, человеческое достоинство, доблесть и честь, открытость добру — все это неопровержимые доводы поэзии в пользу жизни.

...Счастлив тем,
Что жил, при грусти всей,
Не делая проблем
Из разности слепой
Меж кем-то и собой,
Настолько был важней
Знак общности людей,
Доставшийся еще
От довоенных дней...

Под «знаком общности людей» и пишутся эти стихи, обеспечивая им сочувственный читательский отклик. Кушнер — поэт жизни, во всех ее сложнейших проявлениях. И в этом — одно из самых притягательных свойств его поэзии.

Д. Лихачев



ГОЛОС
1978



НА ПУТИ ИЗ ПЕТРОКРЕПОСТИ

Когда из Петрокрепости, пыля,
 Бежит автобус топкими местами, —
 Черемуха, березы, тополя
 Да кладбища с крестами и звездами
 Сопутствуют ему, да облака,
 Да тусклая, с припухлую волною,
 Тяжелая, угрюмая река
 Со сходнями, травой береговою.

На постаментах памятных над ней
 То вздыблен танк, то пушка смотрит грозно.
 Качаются буйки среди зыбей,
 Вбегают, запыхавшись, Мга и Тосна,
 Буксир сквозит меж зарослей кустов,
 Разглаживая складки волн свинцовых...
 Ничто не предвещает ни мостов,
 Ни набережных царственных, дворцовых.

Ни шпилей ледяных, ни куполов,
 Ни наших с вами медленных прогулок,
 Ни тех заветных, праздничных стихов,
 Что помнят каждый дом и переулок,
 Ни гения, дудящего в трубу
 Победы, щеки важно раздувая...
 Но так и ты не можешь знать судьбу
 Заранее, как эта даль речная.

И если даже, славы не стяжав,
 Не просветлев, не сделавшись счастливей,
 В тоске косясь на мятый свой рукав,
 Придешь к концу и скроешься в заливе,
 Катя свой вал, как гору серебра,
 Вдоль берегов затопленных и плоских, —
 Ты — как Нева, но только до Петра,
 В предчувствии высоких дел петровских.

ОКНА

Коллекции моей не угрожают
Ни ржавчина, ни пыль. Хранится в ней
С полсотни ленинградских влажных окон.
Друзья мои, приятели, подруги
Дарили мне их, не подозревая
О том, как я их дар употреблю.
Окно на Охту, с шорохом трамвая,
Окно на сад, который так люблю.

Окно на поле Марсово, с персидской
Сиренью и гробницами. Окно
В колодец петербургский, с подворотней,
И дворницкой, и эхом, доносящим
Безумный разговор: окно открыто,
А разговор все жарче и странней...
А это — мне досталось от визита
Случайного, к друзьям моих друзей:

В нем — Карповка и, кажется, каштаны.
Мне свечи вертикальные в листе
Запомнились. (Когда-нибудь сверну
На Карповку и снизу сон проверю.)
А есть еще в коллекции — на Мойку
Окно, вблизи квартиры роковой.
На Лиговку, на порт, на новостройку
За ласковой Поклонною горой.

Как рыцарь тот, угрюмый нелюдим,
Не сплю: сплит меня моя забава.
«Я царствую! — могу сказать за ним. —
Послушна мне, сильна моя держава».
На «Русский дизель» дымное окно,
На Невку, с сонной мухой и моторкой,
На Кронверкский, и есть еще одно,
Квадратное, с узорчатою шторкой,

Которую легчайшая рука
Задерживала, прежде чем объятье
Раскрыть — лишь куст высокий зеленел,
Просвечивая сквозь льняные нити,
И влажный застилал глаза туман...
И если в сундуке порыться с краю,
Найдем еще окно на океан,
А может быть, на тундру, — я не знаю.

Еще окно,— хозяин мертв, но вид
На улицу в окне не изменился...
И словно укорачивая фокус
В проекционном фонаре, уткнусь
Усталым взглядом в бледное окно,
Июньское, на расстоянье шага,
И вздрогну: в нем лицо отражено
Чужое, но мои перо, бумага.

* * *

Паутина под ветром похожа
На барочный комод.
Тесных ящичков ряд перекошен,
Каждый пуст, но в каком-то живет
Паучок, а в каком-то иголка
Затерялась и пахнет сосной;
И стоишь, задержавшись надолго
Перед мебелью этой резной.

Приседаешь, склоняешься низко,
Словно ищешь меж нижних ветвей,
Не оставлена ль кем-то записка,
Не написано ль в ней:
«Я люблю тебя! Время — помеха.
Ты, как муха, запутался в нем,
Но растет постепенно прореха,
Мы сквозь время с тобою пройдем.

Пусть оно на лицо нам осядет,
Снимем с локтя его и с плеча,
И морщины разгладит
Нам горячая ласка луча.
Пышногрудый, с его вольтерьянством,
Восемнадцатый век или твой —
Ах, не все ли равно... а с пространством
Легче справиться, друг дорогой!»

Я с записочкой медлю у входа,
Я в руках ее долго верчу.
«Или ящички плохи комода?»
Запинаюсь, молчу.
«Нет,— шепчу,— то есть да, то есть плохи».
И теряю блеснувшую нить,

И соринку с изделия эпохи
Золоченой спешу соскоблить.

Не любовь и крутые откосы,
И не смерть я имею в виду,
Когда белым дымком папиросы
Отгоняю тоску на ходу
Или, ставя в стихах своих точку,
Не надеясь уснуть,
Словно ящичек, выдвину строчку:
Пусто в ней или есть что-нибудь?

Блещет средь паутины роскошной
Паучок золотой.
«Все я знаю про век позапрошлый,
Но не знаю, чем кончится мой.
А без этого точного знания,
Без оплаты несметных долгов
Нет рассеянья мне, любованья
И забвенья во веки веков!»

* * *

Я делал контурные карты
За сына, то есть заходил
С карандашом в Тибет и Татры,
Границу Бирмы обводил;
Она петляла, словно нитка
На пиджаке, к нему пристав;
И Филиппины, как улитка,
Мне заползали под рукав.

Не знали жители Манилы,
Что я над ними зависал,
Менял то грифель, то чернила
И буквы мелко писал.

За градом град, за складкой складка,—
Воссоздавал своей рукой
Черты того миропорядка,
Что днем ошибкой и тоской
Считал, а ночью, в ярком свете
Настольной лампы, в тишине,
Черты неряшливые эти
Казались значащими мне.

И страшно было ошибиться,
Позволить пыл себе и прить,
В пески безвыходно зарыться,
В пучине город потопить.
А берег моря, шелест пены,
Корабль, отправленный ко дну
От скуки... чур нас эти сцены!
Я сам скорее утону!
Нет, я кружочек Сингапура
С великим тщаньем обведу,
Хоть поставщик и клиентура
Там спелись где-нибудь в порту.

Есть щель в подметке пассажира,
А так — не видно ничего...
А сын-лентяй за карту мира,
Задворки душные его,
Получит «пять»... Скользи по свету
Прилежным взглядом или брось
Его в портфель... другого нету.
Иль сделать мне не удалось.

С АНГЛИЙСКОГО

Не сдвинуть нам Линкольна или Гранта.
Но будущее — многовариантно.
Предсказывать его — где взять талант?
Хотя сказал мне друг на это круто,
Что Клио выбирает почему-то
Из многих — наихудший вариант.

Я думаю, напрасно так мы спорим.
Пускай гадает будущий историк,
Взор обратив назад, ему видней
(Улегся пыл, и нет уже той пыли),
Какую мы из кубиков сложили
Картинку — тигр иль зайчик, что на ней?

Я посмотрел в окно: там на приколе
Стояла туча, словно Капитолий,
На ветерке краями шевеля.
Он могла в минуту колебанья
Себе придать любые очертанья,
Кочевника, дракона, журавля.

И если время складывает зверя,
Давай с тобой, в другой рисунок веря,
На месте лапы выложим крыло!
Пускай страшилой, пугалом, уродом,
Новейший миф наметив мимоходом,
Плеща крылом, себе мешает зло.

ДУНАЙ

Дунай, теряющий достоинство в изгибах,
Подобно некоторым женщинам, мужчинам,
Течет, во взбалмошных своих дубах и липах
Души не чая, пристрастясь к веселым винам.

Его Бавария до Австрии проводит,
Он покапризничает в сумасбродной Вене,
Уйдет в Словакию, в ее лесах побродит
И выйдет к Венгрии для новых впечатлений.

Всеобщий баловень! Ни войны, ни затмения
Добра и разума не омрачают память,
Ни Моцарт, при смерти просивший птичье пенье
В соседней комнате унять и свет убавить.

Вертлявый, влюбчивый, забывчивый, заросший
В верховьях готикой, в низовьях камышами,
И впрямь что делал бы он с европейским прошлым,
Когда б не будущее, посудите сами?

Что ж выговаривать и выпрямлять извивы,
Взывать к серьезности,— а он и не старался!
А легкомыслие? — так у него счастливый
Нрав, легче Габсбургов, и долго жить собрался.

РУИНЫ

Для полного блаженства не хватало
Руин, их потому и возводили
В аллеях из такого матерьяла,
Чтобы они на хаос походили,
Из мрамора, из праха и развала,
Гранитной кладки и кирпичной пыли.

И нравилось, взобравшись на обломок,
Стоять на нем, вздыхая сокрушенно.
Средь северных разбавленных потемок
Всплывал мираж Микен и Парфенона.
Татарских орд припудренный потомок
И Фельтена ценил, и Камерона.

Когда бы знать могли они, какие
Увидит мир гробы и разрушенья!
Я помню с детства остовы нагие,
Застывший горя лик без выраженья.
Руины... Пусть любят другие,
Как бузина цветет средь запустенья.

Я помню те разбитые кварталы
И ржавых балок крен и провисанье.
Как вы страшны, бывшие идеалы,
Как вы горьки, любовные прощанья,
И старых дружб мгновенные обвалы,
Отчаянья и разочарованья!

Вот человек, похожий на руину.
Зияние в его глазах разверстых.
Такую брешь, и рану, и лавину
Не встретишь ты ни в Дрезденах, ни
в Брестах.
И дом постыл разрушенному сыну,
И нет ему забвения в разъездах.

Друзья мои, держитесь за перила,
За этот куст, за живопись, за строчку,
За лучшее, что с нами в жизни было,
За сбивчивость беды и проволочку,
А этот храм не молния разбила,
Он так задуман был. Поставим точку.

В развале этом, правильно-дотошном,
Зачем искать другой, кроваво-ржавый?
Мы знаем, где искать руины: в прошлом.
А будущее ни при чем, пожалуй.
Сгинь, призрак рваный в мареве сполошном!
Останься здесь, но детскою забавой.

Слово «нервный» сравнительно поздно
 Появилось у нас в словаре
 У некрасовской музы нервнойной
 В петербургском промозглом дворе.
 Даже лошадь нервически скоро
 В его желчном трехсложнике шла,
 Разночинная пылкая ссора
 И в любви его темой была.
 Крупный счет от модистки, и слезы,
 И больной, истерический смех.
 Исторически эти невроты
 Объясняются болью за всех,
 Переломным сознанием и бытом.
 Эту нервность, и бледность, и пыл,
 Что неведомы сильным и сытым,
 Позже в женщинах Чехов ценил,
 Меж двух зол это зло выбирая,
 Если помните... ветер в полях,
 Коврин, Таня, в саду дымовая
 Горечь, слезы и черный монах.
 А теперь и представить не в силах
 Ровной жизни и мирной любви.
 Что однажды блеснуло в чернилах,
 То навеки осталось в крови.
 Всех еще мы не знаем резервов,
 Что еще обнаружат, бог весть,
 Но спроси нас: — Нельзя ли без нервов?
 — Как без нервов, когда они есть! —
 Наши ссоры. Проклятые тряпки.
 Сколько денег в июне ушло!
 — Ты припомнил бы мне еще тапки.
 — Ведь девятое только число,—
 Это жизнь? Между прочим, и это.
 И не самое худшее в ней.
 Это жизнь, это душное лето,
 Это шорох густых тополей,
 Это гулкое хлопанье двери,
 Это счастья неприбранный вид,
 Это, кроме высоких материй,
 То, что мучает всех и роднит.

* * *

Я шел вдоль припухлой тяжелой реки,
Забывшись, и вздрогнул у моста Тучкова
От резкого запаха мокрой пеньки.
В плащах рыбаки
Стояли уныло, и не было клева.

Свинцовая, сонная, тусклая гладь.
Младенцы в такой забываются зыбке.
Спать, глупенький, спать.
Я вздрогнул: я тоже всю жизнь простоять
Готов у реки ради маленькой рыбки.

Я жизнь разлюбил бы, но запах сильней
Велений рассудка.
Я жизнь разлюбил бы, я тоже о ней
Не слишком высокого мнения. Будка,
Причал, и в коробках — шнурочки червей.

Я б жизнь разлюбил, да мешает канат
И запах мазута, веселый и жгучий.
Я жизнь разлюбил бы — мазут виноват
Горячий. Кто мне объяснит этот случай?
И липы горчат.

Не надо, оставьте ее на меня,
Меня на нее, отступитесь, махните
Рукой, мы поладим: реки простыня,
И складки на ней, и слепящие нити
Дождливого дня.

Я жизнь разлюбил бы, я с вами вполне
Согласен, но, едкая, вот она рядом
Свернулась, и сохнет, и снова в цене.
Не вырваться мне.
Как будто прикручен к ней этим канатом.

* * *

Времена не выбирают,
В них живут и умирают.
Большой пошлости на свете
Нет, чем кланчить и пенять.

Будто можно те на эти,
Как на рынке, поменять.

Что ни век, то век железный.
Но дымится сад чудесный,
Блещет тучка; я в пять лет
Должен был от скарлатины
Умереть, живи в невинный
Век, в котором горя нет.

Ты себя в счастливцы прочишь,
А при Грозном жить не хочешь?
Не мечтаешь о чуме
Флорентийской и проказе?
Хочешь ехать в первом классе,
А не в трюме, в полутьме?

Что ни век, то век железный.
Но дымится сад чудесный,
Блещет тучка; обниму
Век мой, рок мой на прощанье.
Время — это испытанье.
Не завидуй никому.

Крепко тесное объятье.
Время — кожа, а не платье.
Глубока его печать.
Словно с пальцев отпечатки,
С нас — его черты и складки,
Приглядевшись, можно взять.

РАЗГОВОР В ПРИХОЖЕЙ

Не наговорились. В прихожей, рукой
с четвертой попытки в рукав попадая,
о Данте, ни больше ни меньше, с такой
надсадой и страстью заспорить:

— Ни рая,
ни ада его не люблю.

— Подожди,
как можно...—

(И столько же тщетных попыток
открыть без хозяина дверь, позади
торчащего.)

— Вся эта камера пыток
не может нам искренне нравиться.

— Он
подобен всевышнему.

— Что же так скучен?

— Ну, знаешь...—

И с новым запалом вдогон
трясущему дверь:

— Если ты равнодушен,
то это не значит еще... И потом,
он гений и мученик.

— В чем переводе
читал ты его? Где мой зонт?

— Не о том
речь, в чем переводе. Подобен породе
гранитной, с вкрапленьями кварца, слюды.
И магла метафор, и шахта сюжета.
Вот зонт. Кстати, в моде складные зонты.

— Твой мрамор и шпат — из другого поэта,
не Данте нашедшего в них, а себя,
черты своего становленья и склада.
По-моему, век наш, направо губя
людей и налево, от Дантова ада
наш взор отвратил: зарывали и жгли
и мыслимых мук превзошли варианты...—
Опомнись. Мы что, подобрать не могли
просторнее места для спора о Данте?

ПОРТРЕТ

Портрет — не моя добродетель, лишен
Я этого дара; мне кажется, некто,
Кого б я хотел описать, окружен
Туманом и скрыт в нем, как тайная секта.
Мне помнится, мне удавался предмет —
Какой-нибудь стол или круглая ваза,
Которую вертишь и смотришь на свет,
И чувствуешь: вот ее хрупкость и масса.

Но это — не медь, не стекло, не вода,
Не газ, а какое-то вечное чудо,
Влекущееся через все невода
И все рассужденья: куда и откуда?
И тут — тем труднее, чем ближе к нему:

Мне друг — наваждение, мне сын — непонятен,
А этот и вовсе упрятан во тьму,
Слепит сочетанием света и пятен.

Что делают в прозе? Одну из примет
Варьируют и закрепляют повтором,
И вот этот призрак в надежный корсет
Засунут и прочным снабжен разговором.
А в жизни — бормочут, лепечут, молчат,
Мычат, говорят не своими словами,
Вперед забегают — и все не попад
И мимо, с другими — другие, чем с вами.

Семью описать; но семья ни при чем!
При чем, но не очень: не стоит мороки.
Эпоху? Но он пожимает плечом,
Насмешливо цедит: — Мы что, на уроке? —
И автор, как будто второй Розенкранц,
Второй Гильденстерн, не умеющий флейту
Заставить играть.

— Так не трогайте нас!
Не дуйте в тростинку разумную эту!

И все же... Есть люди, среди облаков
Парящие, с них наше время, как с гуся.
Кого б я хотел описать, не таков.
Он правой ладонью нащупывал узел
Сердечный, стараясь ослабить чуть-чуть
Жестокую стянутость, он не в погоне —
В газете искал объясненье, и грудь
Под лацканом тер себе... Нет, не выходит!

В передней, кряхтя, залезал он в пальто
И вдруг вспоминал, как спасал его ватник,
Рассказывал случай, прощался... Не то,
Не сцена, а так, подмалеванный задник.
Он к старости счастья не нажил себе,
А впрочем, откуда я знаю... Светлело
Там что-то, мерцало, менялось в судьбе.
Помалкивал он... Не мое это дело.

Особенно речи у гроба страшны.
Чем стих виртуозней по поводу смерти
Приятеля, тем за ним больше вины,
И точен, и знает всю правду... Не верьте!

Никто до конца ничего ни о ком
Не знает, никто не поставлен итоги
Чужие ни вслух подводить, ни тайком,
Ни ставить оценки ему в некрологе.

У мемуаристов — особый резон,
И помнят, что им до войны говорили.
Кого б я хотел описать, окружен
Туманом, я помню: мы в парке бродили
И вечер спускался; какую черту
Мне выбрать? Он весь перечеркан чертами,
Как ветками небо: печаль, доброту,
Веселость и скупость? Его по программе

Небось проходить не придется. Он прост.
Он сложен. Его мы легко раскусили.
Как все мы, однажды он встал во весь рост:
Так вот мы кого по плечу теребили!
Он правой рукою касается звезд,
Он левой берет со стола сигарету,
Он весь — перебор, перелет, перехлест,—
И нам не вобрать переполненность эту.



ВЫСОКАЯ НОТА



* * *

Голос — это работа души,
Это воздух, озвученный нами.
Это нёбные ниши, кряжи,
Альвеолы и зубы с губами.

Как на корочке хлебной прикус,
На горячей болванке воздушной
Отпечатан характер и вкус,
Грузный облик наш или тщедушный.

Соловей перебьет соловья,
Запоют, основной и резервный,
И не знаю, заслушавшись, я,
Где теперь тут второй, а где первый.

А для наших земных голосов
Нет замены — высокий ли, тусклый,
Он один: нет ему двойников
На звучащей шкале этой узкой.

И последним сдается — сперва
Вянет почерк и волос тускнеет.
И на что-то надежда жива
В нем, когда уже кровь холодеет.

* * *

Заснешь и проснешься в слезах от печального сна.
Что ночью открылось, то днем еще не было ясно.
А формула жизни добыта во сне, и она
Ужасна, ужасна, ужасна, прекрасна, ужасна.

Боясь себя выдать и вздохом беду разбудить,
Лежит человек и тоску со слезами глотает,

Вжимаясь в подушку; глаза что открыть,
 что закрыть —
Темно одинаково; ветер в окно залетает.

Какая-то тень эту темень проходит насквозь,
Не видя его, и в ладонях лицо свое прячет.
Лежит неподвижно: чего он хотел, не сбылось?
Сбылось, но не так, как хотелось? Не скажет.
Он плачет.

Под шорох машин, под шумок торопливых дождей
Он ищет подобье близости, в том, что привычно,
Не смея и думать, что всех ему ближе Орфей,
Когда тот пошел, камня, к Харону вторично.

Уже заплетаясь, готовый в тумане пропасть,
А ветер за шторами горькую пену взбивает,
И эту прекрасную, пятую, может быть, часть,
Пусть пятидесятую, пестует и раздувает.

* * *

Сквозняки по утрам в занавесках и шторах
Занимаются лепкою бюстов и торсов.
Как мне нравится хлопанье это и шорох,
Гроздящийся мир уранид и колоссов.

В полотняном плену то плечо, то колено
Проступают, и кажется: дыбятся в схватке,
И пытаются в комнату выйти из плена,
И не в силах прорвать эти пленки и складки.

Мир гигантов, несчастных в своем ослепленье,
Обреченных все утро вспухать пузырями,
Опадая и опять, становясь на колени,
Проступать, приликая то к ручке, то к раме.

О, пергамский алтарь на воздушной подкладке!
И не надо за мрамором в каменоломни
Лезть; все утро друг друга кладут на лопатки,
Подминают, и мнут, и внушают: запомни.

И все утро, покуда ты нежишься, сонный,
В милосердной ночи залечив свои раны,
Там, за шторой, круглясь и толпясь,
 как колонны,
Напрягаются, спорят и гибнут титаны.

Мозг ночью спит, как сад в безветрии.
Клонилась речь на семинаре
К функциональной асимметрии
Его бугристых полушарий.
К тому, что в правом — наше прошлое
Закреплено, а в левом — будущее.
Люблю дыхание полночное,
То затухающее, то дующее.

Мозг, сам себя перебивающий
Рассказом о своем устройстве.
Докладчик говорил: «Товарищи»,
В сомнениях и беспокойстве.
В пространстве левом — опыт умственный,
Прохладный, дышащий безликостью,
В пространстве правом — вещный,
чувственный,
С шероховатостью и выпуклостью!

Мозг ночью спит, как сад, покинутый
Людьми, дрожащий, остывающий.
Мне кажется, я вправо сдвинутый,
А ты, ты влево загибающийся.
Твои друзья высоколобые
Разъять материю пытаются.
Люблю похлопать ствол, попробовать
Кору: легко ли отдирается?

Пространство левое, абстрактное,
Стремящееся в неизвестное;
Пространство правое, обратное,
Всегда заполненное, тесное.
Вот и боярыню Морозову
Не сдвинуть в левый нижний угол.
Художник чувствует, где розвальни,
А где толпу раскинуть кругом.

Мозг ночью спит, как сад, но мыслями
Сорит, как листьями, бесшумно.
И те, что днем не удались ему,
Во тьме блестят почти разумно.

Придешь домой, шурша плащом,
Стирая дождь со щек:
Таинственна ли жизнь еще?
Таинственна еще.

Не надо призраков, теней:
Темна и без того.
Ах, проза в ней еще странней,
Таинственной всего.

Мне дорог жизни крупный план,
Неровности, озноб
И в ней увиденный изъян,
Как в сильный микроскоп.

Биолог скажет, винт кружа,
Что взгляда не отвесь.
— Не знаю, есть ли в нас душа,
Но в клетке,— скажет,— есть.

И он тем более смущен,
Что в тайну посвящен.
Ну, значит, можно жить еще.
Таинственна еще.

Придешь домой, рука в мелу,
Как будто подпирал
И эту ночь, и эту мглу,
И каменный портал.

Нас учат мрамор и гранит
Не поминать обид,
Но помнить, как листва летит
К ногам кариатид.

Как мир качается — держись!
Уж не листву ль со щек
Смахнуть решили, сделав жизнь
Таинственной еще?

* * *

Вот женщина: пробор и платья вырез милый.
Нам кажется, что с ней при жизни мы в раю.
Но с помощью ее невидимые силы
Замысливают боль, лелея смерть твою.

Иначе было им к тебе не подступиться,
И ты прожить всю жизнь в неведении мог.
А так любая вещь: заколка, рукавица —
Вливают в сердце яд и мучат, как ожог.

Подрагиванье век и сердца содроганье,
И веточка в снегу нахохлилась, дрожа,
И жаль ее, себя и всех. Зато в страданье,
Как в щелочной воде, отбелится душа.

Не спрашивай с нее: она не виновата,
Своих не слышит слов, не знает, что творит,
Умна она, добра, и зла, и глуповата,
И нравится себе, и в зеркальце глядит.

* * *

Я в трубку телефонную кричу,
Чтоб слышала меня и поняла:
— Я, знаешь ли, еще раз не хочу
Жить, хватит мне той жизни, что была.

Я, кажется, предпочитаю тьму,
Еще раз не поднять тяжелых век.
— А это, — отвечает, — потому,
Что все же ты счастливый человек.

А я не отказалась бы...—

Молчу.

Ей кажется, что в следующий раз
Жизнь выдастся, как платье, по плечу,
К сиянию подойдет и цвету глаз.

* * *

О космос в угольных мешках
И облаках межзвездной пыли!

Она рассеяна впотьмах.
И мы когда-то ею были.

И стол, и сад,
И стриж, несущийся куда-то,
Все, все — прекрасный результат
Ее сухого конденсата.

Какой проделан долгий путь,
Что стать смогла тобой и мною
И в нас блеснуть
Со всею пылкостью земною.

Я начитался трудных книг,
Где жизнь звезды дана как драма.
Нет и на миг
Покоя — сказано нам прямо.

Топорщись, жесткий переплет.
А я, к столу прижавшись с краю
(Саднит и жжет),
Как скатерть я не прожигаю?

Полночный ветер листву раздул.
Вошла с заминкой, в два приема.
Подвинуть стул?
«Садись, — сказать ей, — будь как дома?»

Звезда моя!
В плену туманности высокой
Пример счастливого житья
С невыносимой подоплекой.

* * *

Над кустом
Задержаться и жестом небрежным
Потрепать две-три розы тайком:
Пусть в наряде своем белоснежном
Проще держатся. Словно урок
Преподавать, не краснея, природе:
«Так, свободней! И чуточку вбок!
В этом роде».

Словно эта естественность есть
В нас, прохожих, а ей — не достало:
«Не сжиматься! Не ежиться! Цвесь
Как попало».
Это ты-то, до сотых долей
Уточняющий каждое слово,
Шепчешь ей:
«Будь небрежна, пышна, бестолкова!»

МУЖЧИНА С РОЗОЙ

Мужчина с розой на портрете,
Ее он держит меж двух пальцев
За стебель гибкий и точеный,
Перевернув к себе затылком,
Молодцевато и брезгливо,
Как все мужчины.

Что он мужчина, нет сомнений.
Напрасно б венский аналитик
Старался розу допросить
С пристрастьем: нет ли фетишизма,
Инверсионных отклонений, —
Их нет, им неоткуда быть.

К тому же, роза бессловесна,
Полузамучена верченьем
В руке, не помнит, где мучитель,
Где стол, где кресло, где букет.

В кафтане, с пышными усами,
Мужчина с розой полумертвой
Глядит, не зная, что с ней делать.
Вдохнуть тончайший аромат
Ему и в голову, конечно,
Прийти не может (то ли дело —
Сорвать и даме поднести!).
Так и должны себя вести,
Так и должны чуть-чуть небрежно
Мужчины к жизни относиться,
К ее придушенной красе,
Как этот славный офицер
(Тут нету места укоризне), —

Чуть-чуть неловко, неумело,
Затем что нечто, кроме жизни,
Есть: долг и доблесть, например.

ВОСПОМИНАНИЕ О ЛЮБВИ

Нельзя оглядываться мне.
Не потому, что тень утрачу дорогую,
А потому, что, прячась в стороне,
Она приблизится — и снова затоскую
Или задумаюсь, а думалось уже,
Что выжил, обновленный.
Как в ткани легочной, у каждого в душе
Участок есть обызвествленный.

И в поражениях есть смысл, и есть — в тоске.
Как виноградник филлоксерой,
Поражена душа блеснувшей вдалеке
Несбыточной химерой.
О, не оглядывайся! Снегом и дождем
Пусть вытравит все пятна.
О ком томился я и горевал о чем?
Я не оглядываюсь — мне и непонятно.

Брошюра гибкая спасенье объяснит
Мне механизмом вытеснения.
О, не оглядывайся! Но душа горит:
Хоть раз! Хоть на мгновенье!
Не оглянуться ли? Неверная стезя.
Мы скажем, что споткнулся.
Ведь и Орфей себе твердил одно: «Нельзя».
Он потому и оглянулся.

* * *

Любил — и не помнил себя, пробудясь,
Но в памяти имя любимой всплывало,
Два слога, как будто их знал отродясь,
Как если бы за ночь моим оно стало;
Вставал, машинально смахнув одеяло.

И отдых кончался при мысли о ней,
Недолг же он! И опять — наважденье.

Любил — и казалось: дойти до дверей
Нельзя, раза три не войдя в искушенье
Расстаться с собой на виду у вещей.

И старый норвежец, учивший вражде
Любовной еще наших бабушек, с полки
На стол попадал и читался в беде
Запойней, чем новые; фьорды и елки,
И прорубь, и авторский взгляд из-под челки.

Воистину мир этот слишком богат,
Ему нипочем разоренные гнезда.
Ах, что ему наш осуждающий взгляд!
Горят письма, и срываются звезды,
И заморозки забираются в сад.

Любил — и стоял к механизму пружин
Земных и небесных так близко, как позже
Уже не случалось; не знанье причин,
А знанье причуд; не топтанье в прихожей,
А пропуск в покои, где кресло и ложе.

Любил — и, наверное, тоже любим
Был, то есть отвержен, отмечен, замучен.
Какой это труд и надрыв — молодым
Быть; старым и все это вынесшим — лучше.
Завидовал птицам и тварям лесным.

Любил — и теперь еще... нет, ничего
Подобного больше, теперь — все в порядке,
Вот сны еще только не знают того,
Что мы пробудились, и любят загадки:
Завесы, и шторы, и сборки, и складки.

Любил... о, когда это было? Забыл.
Давно. Словно в жизни другой или веке
Другом, и теперь ни за что этот пыл
Понять невозможно и мокрые веки:
Ну что тут такого, любил — и любил.

* * *

Испорченные с жизнью отношенья
Не скрасит мела снежного крошенье,

Намыливает лишь сильней петлю.
Не позвонишь ей в день рожденья,
Не скажешь: «Глупая, помиримся, люблю!»

Она теперь с другими дружбу водит
И улыбается другим.
Мы что-то поняли в ее природе,
Чего стесняется она, изъяна вроде,
Порока вроде,— вот и льнет не к нам, а к ним.

Ей с ними весело, а мы с ней сводим счета.
Уличена во лжи, как мелкое жулье,
Забыла ноты,
Стихи, запуталась, превысила расходы,
+ И в унижении мы видели ее.

И это — мелочи, и если называем
Их, то с тем умыслом, чтоб сути не задеть.
Петляем.
«С какою нечистью...» — И фразу заметаем
Снежком, наброшенным на эту тьму, как сеть.

Где ты была, когда, лицом уткнувшись в стену,
Пластом лежали мы, мертвей, чем талый наст?
Кого на смену
Нам присмотрела ты и вывела на сцену?
Влюблен ли он, как мы, и быстр, и языкаст?

«Нас не растрогает,— кричим,— твой вроде мела
Снег и дрожание заплывших тополей!
И есть всему предел, тебе лишь нет предела.
Ты надоела!»
И видим с ужасом: мы надоели ей.

КУСТ

Евангелие от куста жасминового,
Дыша дождем и в сумраке белея,
Среди аллей и звона комариного
Не меньше говорит, чем от Матфея.

Так бел и мокр, так эти грозди светятся,
Так лепестки летят с дичка задетого.

Ты слеп и глух, когда тебе свидетельства
Чудес нужны еще, помимо этого.

Ты слеп и глух, и ищешь виноватого,
И сам готов кого-нибудь обидеть.
Но куст тебя заденет, бесноватого,
И ты начнешь и говорить, и видеть.

* * *

Мне показали праведника. Он
Не пил, не спал с чужой женой, работал
Не то врачом, не то ветеринаром,
На службу ездил в город из поселка,
Знал наизусть священное писанье
И вел душеспасительные речи.

В тот раз стоял он с дедом узкоплечим
И высшее ругал образование.
За что? За то, что только специальность
Оно дает, но дух не проясняет
И жить не учит...

«Фраз его модальность,—
Подумал я,— проста и раздражает».

Но дедушка в обвисшем полушубке
С ним соглашался весело: — Во-во,
Сергея наш закончил институт —
С женой развелся, пьет и безобразит.—
Мы поравнялись с праведником тут,
А он сказал, что пьянство жизнь не красит.

Что ж, праведник как праведник. В пальто.
Потертый ворс дымился и вздымался.
Мне трогательным показалось то,
Что хлястик отогнулся и помялся.
Был чуть одутловат щеки овал,
А левый глаз прищурен и слезился.
«Так вот кто будет жить в раю»,— сказал
Себе я с любопытством... и смутился.

* * *

Какое чудо, если есть
Тот, кто затеплил в нашу честь
Ночное множество созвездий!
А если все само собой
Устроилось, тогда, друг мой,
Еще чудесней!

Мы разве в проигрыше? Нет.
Тогда все тайна, все секрет.
А жизнь совсем невероятна!
Огонь, несущийся во тьму!
Еще прекрасней потому,
Что невозвратно.

* * *

Рай и ад с атрибутами,
И в глазах от них резь.
Кресло с ножками гнутыми,
Хорошо, что ты здесь.

В полутьме, в полупраздности,
Ни в аду, ни в раю,
Посижу в безопасности,
Но на самом краю.



СЛОЖИВ КРЫЛЬЯ

ПИРЫ

Андрею Смирнову

Шампанское — двести бутылок,
Оркестр — восемнадцать рублей,
Пять сотен серебряных вилок,
Бокалов, тарелок, ножей,
Закуски, фазаны, индейки,
Фиалки из оранжерей, —
Подсчитано все до копейки,
Оплачен последний лакей.

И давнего пира изнанка
На глянцевом желтом листе
Слепит, как ночная Фонтанка
С огнями в зеркальной воде.
Казалось забытым, но всплыло,
Явилось, пошло по рукам.
Но кто нам расскажет, как было
Беспечно и весело там!

Тоскливо и скучно!

Сатира

На лестнице мраморный торс.
Мне жалко не этого пира
И пара, а жизни — до слез.
Я знаю, зачем суетливо,
Иные оставив миры,
Во фраке, застегнутом криво,
Брел Тютчев на эти пиры. †

О, лишь бы томило, мерцало,
Манило до белых волос...
Мне жалко не этого бала
И пыла, а жизни — до слез,
Ее толчеи, и кадушки
С обшарпанной пальмою в ней,
И нашей вчерашней пирушки,
И позавчерашней, твоей!

На скользком кладбище, один
Средь плит расколотых, руин,
Порвавших мраморные жилы,
Гнилых осин,—
Стою у тютчевской могилы.

Не отойти.
Вблизи Обводного, среди
Фабричных стен, прижатых тесно,
Смотри: забытая почти
«Всепоглощающая бездна».

Так вот она! Нездешний свет,
Сквозь зелень выбившийся жалко?
Изнанка жизни? Хаос? — Нет.
Сметенных лет
Изжитый мусор, просто свалка.

Какие кладбища у нас!
Их запустенье —
+ Отказ от жизни и отказ
От смерти, птичьих двух-трех фраз
В кустах оборванное пенье.

В полях загробных мы бредем,
Не в пурпур — в рубище одеты,
Глухим путем.
Резинку дай — мы так сотрем:
Ни строчки нашей, ни приметы.

Сто наших лет
Тысячелетним разрушеньям
+ Дать могут фору: столько бед
Свалилось, бомб, гасивших свет,
И свыклись мы с опустошеньем.

Уснуть, остыть.
Что ж, не цветочки ж разводите
На этом прахе и развале!
Когда б не Тютчев, может быть,
Его б совсем перепахали.

И в этом весь
Характер наш и упоенье.

И разве царство божье здесь?
И разве мертвых красит спесь?
В стихах неискренно смиренье?

Спросите Тютчева — и он
Сквозь вечный сон
Махнет рукой, пожмет плечами.
И мнится: смертный свой урон
Благословляет, между нами.

* * *

И после отходной, не в силах головы
Поднять с подушки, все еще узнать пытался
Подробности о взятии Хивы.
Зачем они ему? Ведь он переселялся
В ту область, где Хива — такой же звук пустой,
Как Царское Село.

В окне шумели липы,
И жизни сладкий бред, умноженный листвою,
Смерть заглашал ему, ее тоску и хрипы.

А мы, прочтя о том, как умер кто-нибудь,
Примериваем смерть тайком к себе чужую:
Не подойдет ли нам? Пожалуй, эта жуть
Могла пожутче быть, попробуем другую.
Я столько раз в других мерцал и умирал,
Что собственную смерть сносил наполовину:
Помят ее рукав и вытерт матерьял.
В ночь выходя, ее, как старый плащ, накину.

* * *

Ребенок ближе всех к небытию.
Его еще преследуют болезни,
Он клонится ко сну и забвению
Под зыбкие младенческие песни.

Его еще облизывает тьма,
Подкравшись к изголовью, как волчица,
Заглаживая проблески ума
И взрослые размазывая лица.

Еще он в белой дымке кружевной
И облачной, еще он запеленат,
И в пене полотняной и льняной
Румяные его мгновенья тонут.

Туманящийся с края бытия,
Так при смерти лежат, как он — при жизни,
Разнежившись без собственного «я»,
Нам к жалости живой и укоризне.

Его еще укачивают, он
Что помнит о беспамятстве — забудет.
Он вечный свой досматривает сон.
Вглядишься в него: вот-вот его разбудят.

* * *

Быть классиком — значит стоять на шкафу
Бессмысленным бюстом, топорща ключицы.
О Гоголь, во сне ль это все, наяву?
Так чучело ставят: бекаса, сову.
Стоишь вместо птицы.

Он кутался в шарф, он любил мастерить
Жилеты, камзолы.
Не то что раздеться — куска проглотить
Не мог при свидетелях, — скульптором голый
Поставлен. Приятно ли классиком быть?

Быть классиком — в классе со шкафа смотреть
На школьников; им и запомнится Гоголь —
Не странник, не праведник, даже не щеголь,
Не Гоголь, а Гоголя верхняя треть.

Как нос Ковалева. Последний урок:
Не надо выдумывать, жизнь фантастична!
О юноши, пыль на лице, как чулок!
Быть классиком страшно, почти неприлично.
Не слышат: им хочется под потолок.

Контрольные. Мрак за окном фиолетов,
Не хуже чернил. И на два варианта
Поделенный класс. И не знаешь ответов.
Ни мужества нету еще, ни таланта.
Ни взрослой усмешки, ни опыта жизни.
Учебник достать — пристыдят и отнимут.
Бывал ли кто-либо в огромной отчизне,
Как маленький школьник, так грозно покинут?

Быть может, те годы сказались в особой
Тоске и ознобе? Не думаю, впрочем.
Ах, детства во все времена крутолобий
Вид — вылеплен строгостью и заморочен.
И я просыпаюсь во тьме полуночной
От смертной тоски и слепящего света
Тех ламп на шнурах, белизны их молочной,
И сердце сжимает оставленность эта.

И все неприятности взрослые наши:
Проверки и промахи, трепет невольный,
Любовная дрожь и свидание даже —
Все это не стоит той детской контрольной.
Мы просто забыли. Но маленький школьник
За нас расплатился, покуда не вырос,
И в пальцах дрожал у него треугольник.
Сегодня бы, взрослый, он это не вынес.

ПОСЕЩЕНИЕ

Я тоже посетил
Ту местность, где светил
Мне в молодости луч,
Где ивовый настил
Пружинил под ногой.
Узнать ее нет сил.
Я потерял к ней ключ.
Там не было такой
Ложбины, и перил
Березовых, и круч —
Их вид меня смутил.

Так вот оно что! Нет
Той топи и цветов,
И никаких примет,
И никаких следов.
И молодости след
Растаял и простыл.
Здесь не было кустов!
О, кто за двадцать лет
Нам землю подменил?

Неузнаваем лик
Земли — и грустно так,
Как будто сполз ледник
И слой вырос на слой.
А фильмов тех и книг
Чудовищный костяк!
А детский твой дневник,
Ушедший в мезозой!

Элегии чужды
Привычкам нашим,— нам
И нет прямой нужды
Раскапывать весь хлам,
Ушедший на покой,
И собирать тех лет
Подробности: киркой
Наткнешься на скелет
Той жизни и вражды.

В журнале «Крокодил»
Гуляет диплодок,
Как символ грозных сил,
Похожий на мешок.

Но, может быть, всего
Ужасней был бы вид
Для нас как раз того,
Чем сердце дорожит.

Есть карточка, где ты
С подругой давних лет
Любителем заснят.
Завалены ходы.
Туманней, чем тот свет.
Бледней, чем райский сад.

Там видно колею,
Что сильный дождь размыл.
Так вот — ты был в раю,
Но, видимо, забыл.

Я «Исповедь» Руссо
Как раз перечитал.
Так буйно заросло
Все новым смыслом в ней,
Что книги не узнал,
Страниц ее, частей.
Как много новых лиц!
Завистников, певиц,
Распутниц, надувал.
Скажи, знаток людей,
Ты вклеил, приписал?
Но ровен блеск полей
И незаметен клей.

А есть среди страниц
Такие, что вполне
Быть вписаны могли
Толстым, в другой стране,
Где снег и ковыли.

Дрожание ресниц,
Сердечной правды пыл.

Я тоже посетил.
Наверное, в наш век
Меняются скорей
Черты болот и рек;
Смотри: подорван тыл.
Обвал души твоей.
Не в силах человек
Замедлить жесткий бег
Лужаек и корней.

Я вспомнил москвичей,
Жалеющих Арбат.
Но берег и ручей
Тех улиц не прочней
И каменных наяд.

Кто б думал, что пейзаж
Проходит, как любовь,
Как юность, как мираж,—
Он видит ужас наш
И вскинутую бровь.

Мемориальных букв,
На белом — золотых,
Экскурсоводок-бук,
Жующих черствый стих,
Не видно. Молочай
Охраны старины
Не ведает. Прощай!
Тут нашей нет вины.

Луга сползают в смерть,
Как скатерть с бахромой.
Быть может, умереть —
Прийти к себе домой,
Не зажигая свет,
Не зацепив ногой
Ни стол, ни табурет.

Смеркается. Друзей
Все меньше. Счастлив тем,
Что жил, при грусти всей,
Не делая проблем
Из разности слепой
Меж кем-то и собой,
Настолько был важней
Знак общности людей,
Доставшийся еще
От довоенных дней
И нынешних старух,
Что шли, к плечу плечо,
В футболках и трусах,
Под липким кумачом,
С гирляндами в руках.
О тополиный пух
И меди тяжкий взмах!
Ведь детство — это слух
И зренье, а не страх.

Продрался напролом,
Но луга не нашел.

Давай и мы уйдем
Легко, как он ушел.

Ты думал удивить
Набором перемен,
Накопленных тобой,
Но мокрые кусты
Не знают, с чем сличить
Отцветшие черты,
Поблекший облик твой,
Сентиментальных сцен
Стыдятся, им что ты,
Должно быть, что любой.

И знаешь, даже рад
Я этому: наш мир —
Не заповедник; склад
Его изменчив; дыр
Не залатать; зато
Новехонек для тех,
Кто вытащил в лото
Свой номер позже нас,
Чей шепоток и смех
Ты слышишь в поздний час.

В ВАГОНЕ

Поскрипывал ремень на чемодане,
Позвякивала ложечка в стакане,
Тянулся луч по стенке за лучом.
О чем они? Не знаю. Ни о чем.
Подрагивали пряжки и застежки.
Покачивались платья и сапожки.
Подмигивал, помаргивал плафон.
Покряхтывал, потрескивал вагон.
Покатая покачивалась полка.
Шнурок какой-то бился долго, долго
О стенку металлическим крючком.
О чем они? Не знаю. Ни о чем.
Усни, усни, усни, сгрузили бревна.
К восьми, к восьми, к восьми, нет,
в девять рс
Все блажь, пустяк, прости меня, все бред.
Попробуй так: да — да, а нет — так нет.

Ах, стуки эти, скрипы, переборы,
Сдавался я на эти уговоры,
Склонялся и согласен был с судьбой,
Уговоренный пряжкой и скобой.

ВОСТОЧНЫЙ УЗОР

I

ФЛЕЙТИСТ

Флейтист на корточках сидит.
Змея глядит и не мигает,
И тихой музыки магнит
Ее из петель поднимает.

Так заговаривают зло
И острый слух его тиранят.
А ты, когда на то пошло,
Не тем же разве делом занят?

И если где-нибудь не спят,
В ночи сдержать не могут вздоха
Иль обжигает сердце яд,—
То значит, мы играли плохо.

2

ИРАНСКИЕ МИНИАТЮРЫ

Вот старец с двумя сыновьями
Заходит в костер, как в бурьян.
Не бойся: не тронет их пламя
И не почернеет тюрбан,
Но выйдут с горячим румянцем
Живыми из жарких пелен
К тому, кто, с прикушенным пальцем,
Бессмертием их поражен.

Вот падает тюрк пред имамом,
Целуя копыто коня:
«Откуда ты под покрывалом
По имени знаешь меня?»
А рядом — цветочки, цветочки,
Пустыни весенний наряд,

И молча среди проволочки
Имамовы слуги стоят.

Мне грустно: веселое пламя
Меня-то, как ветку, пожрет,
Да я и не сунусь руками
В его золотой переплет.
Имам в долгополом халате
Не встретится мне на коне,
Окликнув по имени кстати
И дух перестроив во мне.

3

* * *

Я не люблю Восток, не понимаю
Любви к пустыням, зною и коврам,
К его камням, с орнаментом по краю,
К его цветистым, вкрадчивым речам,
К его стихам, в которых что ни слово,
То или роза, или самоцвет,
И мглой лиловой Павла Кузнецова
В музеях я тем горестней задет,

Что эти сны миражные, чужие
Не снятся мне, и втайне сознаю
Свою ущербность, видя, как другие
Находят рай при жизни в том краю,
Где я — лишь зной да пыльную мороку.
Богат Восток, и жалких этих строк
Он не прочтет, и лень, и, слава богу,
Не повредит Востоку холодок.

Есть у меня приятель, он родился
В Москве, но выбрал сладкий этот плен,
Раздался в скулах, весь преобразился
И стал что твой таджик или туркмен.
Национальность — странная забота,
Она проходит. Сердце, прилепясь
К иной земле, сбивается со счета,
В другой узор уверовав и вязь.

И я, к иным присматриваясь строчкам,
Ища пример себе в чужих стихах,

Смотрю: они посыпаны песочком,
Сухим, сплошным, скрипящим на зубах,
И хвалят степь, и требуют отваги.
Песчинкой стать — противится душа.
Ах, листьев ей, и облачка, и влаги,
С балкона в ночь летящего стрижа!

4

* * *

Загробное блаженство фараона
Разобрано на части: вот флакона
Для благовоний скользкий силуэт.
Вот стул складной, и куколка резная
Для внутренностей, маска золотая,
Ларец, и лук, и трость, и амулет.

Ушло из тьмы и убежало тлена,
И на правах культурного обмена
Из древних Фив завезено... Куда?
Милиция дежурит с мегафоном,
Толпа гудит под блеклым небосклоном,
И невская колышется вода.

Тысячелетья — нолик, нолик, нолик.
Нам продал с рук билеты алкоголик,
И мы проникли в сказочную дверь.
Вот что отрыли заступ, дрель и ломик!
Но слышу плач: «Где мой игральный столик?»
В каких садах охотиться теперь?

Моя ладья! Мой гробик и посуда!»
Не плачь, несчастный! Это ли не чудо:
Твой ветхий сон — и люди в пиджаках?
Вниманье их, музейное усердие.
И хочешь правду: странно не бессмертье,
А жизнь, в ее мерцанье и тенях!

5

ПОДРАЖАНИЕ ДРЕВНИМ

Знаю, с чем я сравню тебя. Так
Запах лотоса нильского сладок.

После пыльных конторских бумаг
Так приятен домашний порядок.
Знаю, с чем я сравню тебя. Ты —
Как сиятельный гость мой сановный,
Как прошедшие стрижку кусты
С безупречной поверхностью ровной.
Знаю, что уподоблю тебе.

Так со льдом освежает напиток.
Так листочек горчит на губе,
Усыпляет развернутый свиток.
Знаю, с чем я сравню тебя. Так
Гипнотически стонут цикады.
Уплотняется к вечеру мрак,
И ночные плывут ароматы.
Знаю, с чем мне сравнить тебя. Ты —
Как свисающее опахало.
Как на мумии бледной бинты.
Как гребец, прикорнувший устало.

Знаю, с чем я сравню тебя. Мне
Ни к чему эта вычурность слога.
Как горячие слезы во сне.
Так помешкай, помедли немного!
Знаю, что ты имеешь в виду,
Что ты держишь в мечтах на примете:
Возвращенье стиха в темноту,
Провисание прорванной сети.
Как ночное купанье. Как вновь
Без остатка во тьму погруженье.
Как забвенья себя. Как любовь.
Как навек от нее избавленье.

КРУЖЕВО

Суконное с витрины покрывало
Откинули — и кружево предстало
Узорное, в воздушных пузырьках.
Подобье то ли пены, то ли снега.
И к воздуху семнадцатого века
Припали мы на согнутых руках.

Притягивало кружево подругу.
Не то чтобы я предпочел дерюгу,

Но эта роскошь тоже не про нас.
Про Ришелье, сгубившего Сен-Мара.
Воротничок на плахе вроде пара.
Сними его — казнят тебя сейчас.

А все-таки как дышится! На свете
Нет ничего прохладней этих петель,
Сквожений этих, что ни назови.
Узорчатая иглотерапия.
Но и в стихах воздушная стихия
Всего важней, и в грозах, и в любви.

Стих держится на выдохе и вдохе,
Любовь — на них, и каждый сдвиг в эпохе.
Припомните, как дышит ночью сад!
Проколы эти, пропуски, зиянья,
Наполненные плачем содроганья.
Что жизни наши делают? Сквозят.

Опомнися. Ты, кажется, устала?
Суконное накинem покрывало
На кружево — и кружево точь-в-точь
Песнь оборвет, как песенку синица,
Когда на клетку брошена тряпица:
День за окном, а для певуньи — ночь.

* * *

Я. Гордину

Был туман. И в тумане
Наподобье загробных теней
В двух шагах от французов прошли англичане,
Не заметив чужих кораблей.

Нельсон нервничал: он проморгал Бонапарта,
Мчался к Александрии, топтался у стен Сиракуз,
Слишком много азарта
Он вложил в это дело: упущен француз.

А представьте себе: в эту ночь никакого тумана!
Флот французский опознан, расстрелян, развезен,
разбит.

И тогда — ничего от безумного шага и плана,
Никаких пирамид.

Вообще ничего. Ни империи, ни Аустерлица.
И двенадцатый год, и роман-эпопея — прости.
О туман! Бесприютная взвешенной влаги частица,
Хорошо, что у Нельсона встретилась ты на пути.

Мне в истории нравятся фантасмагория, фанты,
Все, чего так стыдятся историки в ней.
Им на жесткую цепь хочется посадить варианты,
А она — на корабль и подносит им с ходу — сто дней!

И за то, что она не искусство для них, а наука,
За обидой не лезет в карман.
Может быть, она мука,
Но не скука. Я вышел во двор, пригляделся: туман.

* * *

О ты, жестокая холера!
Какого ты сгубила кавалера,
Семеновского унтер-офицера...

Эпитафия. Смоленское кладбище

Кладбищенских стихов тяжелое паренье.
Под рифму легче спать. Упреки, наставленья:
«Спи...» Или: «Отдыхай... Зачем от нас ушел?»
Медлительный их слог торжествен и тяжел.

Есть пропуски в стихах: там буквы облетели,
Там трещина прошла, там выскребли метели
Последний смысл из фраз; рассыпанный набор —
Вот все, что различить на камне может взор.

И все-таки прочны гранитные страницы,
И кое-что прочесть возможно, и гордится
Могильная плита тем текстом, что на ней,
Ущербу вопреки, дошел до наших дней.

И унтер-офицер, которому ни строчки
Прочесть не удалось в телесной оболочке,
Теперь, когда он тень, товарищей своих
В душе благодарит за самодельный стих.

А пошлостью людской взволнованный прохожий
На смерть глядит бодрей и думает: «Похоже

На жизнь и так смешно, что глупо унывать.
Запомнить бы стишки, чтоб другу прочитать».

СЛОЖИВ КРЫЛЬЯ

Крылья бабочка сложит,
И с древесной корой совпадет ее цвет.
Кто найти ее сможет?
Бабочки нет.

Ах, ах, ах, горе нам, горе!
Совпадут всеми точками крылья: ни шелки, ни шва.
Словно в греческом хоре
Строфа и антистрофа.

Как богаты мы были, да все потеряли!
Захотели б вернуть этот блеск — и уже не могли б.
Где дворец твой? Слепец, ты идешь, спотыкаясь
в печали.

Царь Эдип.

Радость крылья сложила
И глядит оборотной, тоскливой своей стороной.
Чем душа дорожила,
Стало мукой сплошной.

И меняется почерк,
И, склонясь над строкой,
Ты не бабочку ловишь, а жалкий, засохший листочек,
Показавшийся бабочкою под рукой.

И смеркается время.
Где разводы его, бархатистая ткань и канва?
Превращается в темень
Жизнь, узор дорогой различаешь в тумане едва.

Сколько бабочек пестрых всплывало у глаз
и прельщало:
И тропический зной, и в лиловых подтеках Париж!
И душа обмирала —
Да мне голос шепнул: «Не туда ты глядишь!»

Ах, ах, ах, зорче смотрите,
Озираясь вокруг и опять погружаясь в себя.

Может быть, и любовь где-то здесь, только
в сложенном виде,
Примостилась, крыло на крыле, молчаливо любя?

Может быть, и добро, если истинно, то втихомолку.
Совершенное втайне, оно совершенно темно.

Не оставит и щелку,
Чтоб подглядывал кто-нибудь, как совершенно оно.

Может быть, в том, что бабочка знойные крылья
сложила,

Есть и наша вина: слишком близко мы к ней подошли.
Отойдем — и вспорхнет, и очнется, принцесса

Брамбила

В разноцветной пыли!

* * *

Сентябрь выметает широкой метлой
Жучков, паучков с паутиной сквозной,
Истерзанных бабочек, ссохшихся ос,
На сломанных крыльях разбитых стрекоз,
Их круглые линзы, бинокли, очки,
Чешуйки, распорки, густую пыльцу,
Их усики, лапки, зацепки, крючки,
Оборки, которые были к лицу.

Сентябрь выметает широкой метлой
Хитиновый мусор, наряд кружевной,
Как если б директор балетных теплиц
Очнулся — и сдунул своих танцовщиц.
Сентябрь выметает метлой со двора
За поле, за речку и дальше, во тьму,
Манжеты, застежки, плащи, веера,
Надежды на счастье, батист, бахрому.

Прощай, моя радость! До кладбища ос,
До свалки жуков, до погоста слепней,
До царства Плутона, до высохших слез,
До блеклых, в цветах, элизийских полей!



Проси, чтоб дунуло, чтоб с моря в сад пахнуло
Бодрящей свежестью волн, бьющихся о мыс,
Чтоб слово ровное нам ветерком загнуло —
И мы увидели его ворсистый смысл.

МОРЕПЛАВАНИЕ

Мореплаванье в Летнем саду
С беломраморной картой Европы,
Затуманясь, лелеет мечту —
Города, где очнуться могло бы
После долгого плаванья: Кельн
Островекий и Лондон дождливый.
Мореплаванью плохо без волн,
Берега ему снятся, проливы.

А еще ему горько, что здесь
Оно топчется в женском обличье,
Обнаженное, скарб его весь:
Руль, да карта, да песенка птичья.
Почерневшие грудь и спина.
Что на свете скучней аллегорий?
Подойдем: неужели она —
Мореплаванье, синее море?

Не таким я тебя представлял,
Мореплаванье, — флаг за кормою,
Затянувшийся взлет и провал,
Шлейф узорный с морскою звездой!
Перед тем как уснуть и во сне,
На высокой подушке покатою,
Ты не женщиной виделось мне,
А как раз избавленьем, прохладой.

Но когда от залива волну
Ветер вспять, разгулявшись, погонит,
И на мраморную белизну
Туча первые капли уронит,
И дождя поползут языки
По беспомощной, мокрой, раздетой,
И прохожий ускорит шаги,
От дождя прикрываясь газетой, —

Посреди сухопутных подруг,
Под листвою, поредевшей и зыбкой,
Мореплаванье смотрит, вокруг
Озираясь, с блаженной улыбкой.

ПРОГУЛКА

Итальянец назвал наше лето зеленой зимой.
В самом деле нежарко.
Плащ накину, пойду погуляю под мокрой листвою.
Жизнь покажется вроде подмоченного подарка.
Постою над Невой.

Посмотрю, как припухла ее голубая губа.
О, вторая Венеция! Тем, кто не видели первой,
Улыбнется судьба
И подсунет то шпиль, то фасад с почерневшей
Минервой.
Кто нам сбивчивый ритм небывалый диктует? Ходьба.

Хорошо у реки.
Те, кто были в Венеции, стали бедней на виденье,
На мираж, на иллюзию. Невских мостов позвонки,
Их дрожанье, гуденье.
Как люблю серебро это тусклое, блеск, сквозняки.

Этот выступ лепной,
Вороватого малого с фановой толстой трубой
Узловой — под мышкой,
Эти лужи и в них акварели клочок голубой,
Эти липы с мальчишеской коротковатой стрижкой.

А вчера мне приснилось, что я заблудился в метро
И никак на поверхность не выбраться: «Мира»,
«Лесная»,
«Елизаровская»... По тоннелям летел, как ядро,
Поезд, сон обгоняя,
В лабиринте подземном — слепое, стальное нутро.

И когда показалось, что мне никогда наяву
Не увидеть уже ни Васильевский остров, ни Биржу,
Я зашелся в тоске, я подумал: не переживу.
Распоролась по шву
Жизнь, и вскрикнул во сне, и проснулся, и понял:
увижу.

ВЕТВЬ

Но сквозь сеть нагих твоих ветвей...

И. Анненский

Ветвь на фоне дворца с неопавшей листвою
золоченой

Средь спящих снегов
Рукотворною кажется, жестко к стволу
пригвожденной.

Чем она отличается от многолетних цветов
На фасаде, его фантастически пышной лепнины?
От гирлянд и стеблей
На перилах, от рам, отбивающих свет у картины,
От узорных дверей?

Ветвь на фоне дворца, пошурши мне листочком
дубовым,
Помаша, потряси, как подвеской плафон, побренчи,
Я представить боюсь, неуместным задев тебя словом,
Как ты бьешься в ночи.
И когда этот Север вздыхает по птицам небесным,
По лазурным волнам,
Ты похожа на тех, кто живет, притворяясь железным
Или каменным, боль не давая почувствовать нам.

А еще мне мерещатся в холоде снежных объятий
Под бессонной звездой
Царскосельский поэт с гимназической связкой
тетрадей

И трилистник его ледяной.
Довисим до весны, до зеленых, что ярче и глаже,
Непохожих на бронзу, на гипс, на железо и жечь,
Но зимой не уроним достоинство тихое наше
† И продрогшую честь.

* * *

Там — льдистый занавес являет нам зима,
Весной подточенная; там — блестит попона;
Там — серебристая, вся в узелках, тесьма;
Там — скатерть съехала и блещет бахрома
Ее стеклянная, и капает с балкона;

Там — щетка видится; там — частый гребешок;
Там — остов трубчатый, коленчатый органа;
Там — в снег запущенный орлиный коготок,
Моржовый клык, собачий зуб, бараний рог;
Там — шкурка льдистая, как кожица с банана;

Свеча оплывшая; колонны капитель
В саду мерещится; под ней — кусок колонны —
Брусок подмокший льда, уложенный в постель,
Увитый инеем, — так обвиняет хмель
Руины где-нибудь в Ломбардии зеленой.

Все это плавится, слипается, плывет.
Мы на развалинах зимы с тобой гуляем.
Культура некая, оправленная в лед,
В слезах прощается и трещину дает.
И воздух мартовский мы, как любовь, вдыхаем.

* * *

Не о любви — о шорохе высоком
В листе глухой листочка одного,
Как будто бред в беспмятстве глубоком —
И не унять, не выровнять его.

Не о любви — о выбившейся прядке,
О тихом вздохе, вырвавшемся вдруг;
Не о любви — о тайне и догадке,
Но так темно, так призрачно, мой друг.

Не о любви — о доблести и долге.
Какой Корнель внушает нам строфу?
Не о любви — о вздохе и обмолвке,
О холодах, о рюмочке в шкафу.

Уже и ночь выносят на носилках,
И звездный блеск висит на волоске,
А он все бьется, скорченный, в прожилках,
И шелестит, как жилка на виске.

Валерию Попову

Блеск такой — не нужна никакая цветочная Ницца.
Невозможно весной усидеть взаперти.

И скворцу говорю: «Полетай, если птица!»

И сирени: «Пожалуйста, если сирень, то цвети!»

Человек недоволен: по-прежнему плохо со смыслом
Жизни; нечем помочь человеку, зато хорошо
Со скворцом и сиренью, которая шапкой нависла
И в лицо ему дышит безгрешно, бездумно, свежо.

И когда б развели тех налево, а этих направо,
Все равно, и в слезах, он примкнул бы к тому

большинству,

Для которого жизнь даже если и боль, и отраву,
То — счастливая боль, так лучи заливают листву!

Как клен и рябина растут у порога,
Росли у порога Растрелли и Росси,
И мы отличали ампира от барокко,
Как вы в этом возрасте ели от сосен.
Ну что же, что в ложноклассическом стиле
Есть нечто смешное, что в тоге, в тумане
Сгустившемся, глядя на автомобили,
Стоит в простыне полководец, как в бане?
А мы принимаем условность, как данность.
Во-первых, привычка. И нам объяснили
В младенчестве эту веселую странность,
Когда нас за ручку сюда приводили.
И эти могучие медные складки,
Прилипшие к телу, простите, к мундиру,
В таком безупречном ложатся порядке,
Что в детстве внушают доверие к миру,
Стремление к славе. С каких бы мы точек
Ни стали смотреть — все равно загляденье.
Особенно если кружится листочек
И осень, как знамя, стоит в отдаленье.

Е. Невзглядовой

Если камешки на две кучки спорных
Мы разложим, по разному их цвету,
Белых больше окажется, чем черных.
Марциал, унывать нам смысла нету.
Если так у вас было в жестком Риме,
То, поверь, точно так и в Ленинграде,
Где весь день под ветрами ледяными
Камни в мокром красуются наряде.

Слышен шелест чужого разговора.
Колоннада изогнута, как в Риме.
Здесь цветут у Казанского собора
† Трагедийные розы в жирном гриме.
Счастье — вот оно! Театральным жестом
Тень скользнет по бутонам и сплетеньям.
Марциал, пусть другие ездят в Пестум,
Знаменитый двукратным роз цветеньем.

* * *

И пыльная дымка, и даль в ореоле
Вечернего солнца, и роша в тумане.
Художник так тихо работает в поле,
Чтомышь полевую находит в кармане.

Увы, ее тельце смешно и убого.
И, вынув брезгливо ее из кармана,
Он прячет улыбку. За господа бога
Быть принятым все-таки лестно и странно.

Он думает: если бы в серенькой куртке,
Потертой, измазанной масляной краской,
Он сунулся б тоже, сметливый и юркий,
В широкий карман за теплом и за лаской,—

Взовьются ли, вздрогнут, его обнаружат?
Придушат, пригреют? Отпустят на волю?
За кротость, за вид хлопотливо-тщедушный,
За преданность этому пыльному полю?

ВОЛНА

Волна в кружевах,
Изломах, изгибах, извивах,
Лепных завитках,
Повторных прыжках и мотивах;
Волна с бахромой,
С фронтоном на пышной вершине
Над ширью морской.
Сверкай, Борромини, Бернини!

И грохот, и гул.
Привольно, нарядно, высоко.
На небо, от брызг заслонившись
ладонью, взглянул:

И в небе — барокко!
Плывут облака:
Гирлянды, пилястры, перила.
Какая рука
Причудливо так их слепила?

Ученый знаток,
Твоих мне не надо усилий:
Мне ясен исток
И происхождение стилей!
Как шторм или штиль,
Тебя не спросясь, как погода,
Меняется стиль.
Искусство — свобода!

От веяний в нем,
Заимствований и влияний
Еще веселей. При безветрии полном уснем,
Проснемся при грохоте. О, исполненье желаний!
Сижу за столом.
Неровно дыханье и сбои
Сердечные — ритм заставляют ходить ходуном,
Ворочая мысли, как камни в приборе.

Сюжетный костяк
Отставлен, с его несвободой
И скукой. Итак,
Мне нравится то, что «бессмысленной»
названо одой.

Крушение строк,
Поэт то могуч, то бессилён.
Но этот порок
В ней выдержан и продуктивен:

Он призван явить
Растерянность и утомленье,
Чтоб мы оценить
Тем выше могли вдохновенье.
Как волны у скал,
Как рушащаяся громада.
А я так устал,
Что и притворяться не надо.

Нам фора дана —
Лет десять: выросли мы позже.
Возьми дорогие из прошлых времен
имена:
Мы — старше, а сердцем — моложе,
И крепко струна
На грифе зажата, а все же...
А все же волна
И наша — на выдохе тоже.

«Что, весело жить?» —
Так спросят чудно и нелепо.
«Жизнь лучше, чем быть
Могла бы, но хуже, чем мне бы
Хотелось», — у врат
Отвечу загробного края,
Где тени стоят,
Усталых гостей поджидая.

Что, можно входить?
Притушат сиянья и нимбы.
Мы лучше, чем быть
Могли бы, но хуже, чем им бы
Хотелось. Гулять
Степенно, как по Эрмитажу?
По правде сказать,
Я будущей жизни не жажду.

Я эти стихи
Писал, вопреки Гераклиту:
Как в те же грехи,

Входил в эти строфы, по виду
Похожие друг
На друга, хотя в Ленинграде
Заканчивал их, вспоминая на севере юг,
А начал — в Крыму, к меловой
прислонясь балюстраде.

Я помню: любви,
Казалось, конца не настанет,
Как жестким, в крови,
Безвыходным мукам титаным,
И в эту волну
Кидался, ища отвлеченья.
И вдруг оказалось, что боль моя
меньше в длину,
Чем стихотворенье.

Я в жизни стыжусь
Признаний, в стихах же все чаще
Себе я кажусь
Чудовищем с глазом горящим,
Испортившим жизнь
Себе и любимым, и снова
Всплывающим ввысь
Для мокрого, точного слова.

Читатель и друг!
Что делать с волной звуковой?
Накатит — и вдруг
Меня выдает с головою,—
И вот под рукой
Твоей, с трепыханьем и дрожью,
Мертвею и гасну на белой странице сухой
Со всей моей правдой и ложью.

Что может быть тел
Застывших жалчей и желейных?
Но я пролетел
Давно, это звук мой в отдельных
Разводах, витках,
Отставший от собственной жизни.
Но, видно, в стихах
Есть что-то от крови и слизи.

Мне стыдно, что я
Твое занимаю вниманье.
И разве твоя
Жизнь скрытая — не содроганье,
Не смертный порыв,
Не волны в слепящем уборе?
Брезгливость смирив,
Как краба, швырни меня в море!

Мы жили с тобой
В одно небывалое время,
И общий прибор
Нас бил в подбородок и темя,
И прожитых лет
Вне строк стиховых не воротишь.
Ты — книгу и плед
Под мышку — и с пляжа уходишь.

Но тут, стороной
Узнав, что я гибну и стыну,
Приходит за мной
И тащит обратно в пучину —
Волна в завитках,
Повторных прыжках и мотивах,
Крутых временах,
Соленых и все же — счастливых!





**ТАВРИЧЕСКИЙ
САД
1984**

НА ЯЗЫКЕ ЛИСТВЫ



* * *

Небо ночное распахнуто настезь — и нам
Весь механизм его виден: шпыньки и пружинки,
Гвозди, колки... Музыкальная трудится там
Фраза, глотая помехи, съедая запинки.

Ночью в деревне, шагнув от раскрытых дверей,
Вдруг ощущаешь себя в золотом лабиринте.
Кажется, только что вышел оттуда Тезей,
Чуткую руку на нити держа, как на квинте.

Что это, друг мой, откуда такая любовь,
Несовершенство свое сознающая явно,
Вся — вне расчета вернуться когда-нибудь вновь
В эти края, а в небесную тьму — и подавно.

Кто этих стад, этой музыки тучной пастух?
Небо ночное скрипучей заведено ручкой.
Стынешь и чувствуешь, как превращается в слух
Зреньё, а слух затмевается серенькой тучкой.

Или слезами. Не спрашивай только, о чем
Плачут: любовь ли, обида ли жжется земная —
Просто стоят, подпирая пространство плечом,
Музыку с глаз, словно блещущий рай, вытирая.

* * *

Ночной листвы тяжелое дыханье.
То всхлипнет дождь, то гулко хлопнет дверь.
«Ай, ай, ай, ай» — Медеи причитанье
Во всю строку — понятно мне теперь.

Не прочный смысл, не выпуклое слово,
А этот всплеск и вздох всего важней.

Подкожный шум, подкладка и основа,
Подвижный гул подвернутых ветвей.

Тоске не скажешь: «Встань, а я прилягу.
Ты посиди, пока я полежу».
Она, как тень, всю ночь от нас ни шагу,
Сказав во тьму: «За ним я пригляжу».

Когда во тьме невыспавшийся ветер
Находит нас, неспящих, чуть живых,
Нет ничего точнее междометий,
Осмысленней и горестнее их.

Кто мерил ночь неровными шагами,
Тот знает цену тихому «увы!».
Все, все, что знает жалкого за нами,
Расскажет ночь на языке листвы.

НОЧНАЯ БАБОЧКА

Пиджак безжизненно повис на спинке стула.
Ночная бабочка на лацкане уснула.
Где свет застал ее — там выдохлась и спит.
Где сон сморил ее — там крылья распластала.
Вы не добудите ее: она устала.
И желтой ниточкой узор ее прошит.

Ей, ночью видящей, свет кажется покровом
Сплошным, как занавес, но с краешком багровым.
В него укутанной, покойно ей сейчас.
Ей снится комната со спящим непробудно
Во тьме, распахнутой безжалостно и чудно,
И с беззащитного она не сводит глаз.

* *

Ах, эта ночь, этот плащ на железном гвозде,
Жирная зелень и яркая лампа в сто ватт.
Лампу гашу, но нельзя же сидеть в темноте!
И мотыльку говорю я: «Ты сам виноват».

Загримированным кажется сад, но никак
Сообразить не могу, подо что, под кого?

Если б листва не кипела, не ерзала так,
Мне, может быть, разгадать удалось бы его.

Кто-то томится, и тополь подходит к нему,
Сбить предлагая жестокое пламя и пыл.
В августе бог принимает, как врач, на дому.
Если пойти к нему, скажет: «Ты сам полюбил».

Падают звезды. С шоссе ударяют лучи
Белых, сверкающих, словно заплаканных фар.
Сколько здесь бархата, шелка, фланели, парчи!
Глянцево-гладкий, волнисто-ворсистый кошмар.

Весь он умрет... по сравнению с тем, кто не весь,
В лире продлившись,— его безнадежны дела.
Что до любви, то она бы сошла за болезнь,
Если б любовь, как болезнь, излечима была.

Передо мной то зеленый провал, то пятно,
То содроганье и приступ с захлестом тугим.
Сад бы напомнил безумие, если б оно
В шуме листвы не казалось прекрасным таким!

* * *

За всё, за всё...

Лермонтов

За что? За ночь. За яркий по контрасту
С ней белый день и тополь за углом,
За холода, как помните, за астму
Военных астр, за разоренный дом.
Какой предлог! За мглу сырых лужаек,
За отучивший жаловаться нас
Свинцовый век, за четырех хозяек,
За их глаза, за то, что бог не спас.

За всё, за всё... друзья не виноваты,
Что выбираем их мы второпях,
За тяжких бед громовые раскаты,
✦ За шкафчик твой, что глаженьем пропах,
За тот смешок в минуту жизни злую,
За всё, чем я обманут в жизни был:
За медь дубов древесную сырую
И за листву чугунную перил.

* * *

Спи, спи... Пока ты спишь, я буду у стола
Читать или писать — и сон твой будет сладок,
И будет мгла его, уступчатая мгла,
Подсвечена лучом в одной из чудных складок.

Спи, спи, не страшно спать, когда товарищ есть
По рыхлой тьме ночной, склоненный над работой,—
Всё, всё, что напишу, и всё, что я прочесть
Успею, в этот час покрыто позолотой.

На лампу я платок накину с бахромой,
И если ты во сне помотришь сквозь ресницы,
Наложится на них ряд частый, шерстяной,
И сквозь двойной заслон не сможешь ты пробиться.

Но, вынырнув из сна, чтоб вновь зарыться в сон,
Успеешь ощутить в неверном промежутке,
Что явь волшебней сна, что лампой освещен
Засученный рукав и тени странно-чутки.

Спи, спи, пока ты спишь, часа на полтора
Обгонит жизнь тебя, но это отставанье
Не страшно потому, что слышен скрип пера,
Дыхание страниц и шторы колыханье.

* * *

О чем говорил я? Ведь смертные наши слова
В себе заключают так много, а значат так мало.
Особенно летом, особенно ночью... Листва
В окне приоткрытом твой слух у меня отбивала.

То ночь отбивала тебя у меня. Расскажи,
Что может листва человеку нашептывать в ухо?
Мне с ней не тягаться. Ей ласточки служат, стрижи,
И ветер, и дождик, и клоч тополиного пуха.

И если я что-то тебе о стихах говорил,
То там, за окном, ненаписанных больше томилось,
А если о счастье, то как же наивен я был,
Как беден, а счастье вспухало в окне и клубилось!

Сползало, как оползень, на плечи любящим, мук
Их знать не хотело, плескалось и жарко дышало,
И я на полслове затих и заслушался вдруг,
И если бы умер, то жить захотел бы сначала.

* * *

По рощам блаженных, по влажным зеленым холмам.
За милую тенью, тебя поджидающей там.
Прекрасную руку сжимая в своей что есть сил.
Ах, с самого детства никто тебя так не водил!

По рощам блаженных, по волнообразным, густым,
Расчесанным травам — лишь в детстве ступал по таким!
Никто не стрижет, не сажает их — сами растут.
За милую тенью.— «Куда мы?» — «Не бойся.
Нас ждут».

Монтрей или Кембридж? Кому что припомнить дано.
Я ахну, я всхлипну, я вспомню деревню Межно,
Куда с детским садом в три года меня привезли,—
С тех пор я не видел нежней и блаженней земли.

По рощам блаженных, предчувствуя жизнь впереди
Такую родную, как эти грибные дожди,
Такую большую — не меньше, чем та, что была.
И мята, и мед, и, наверное, горе и мгла.





* * *

Страна, как туча за окном,
Синеет зимняя, большая.
Ни разговором, ни вином
Не заслонить ее, альбом
Немецкой графики листая,
Читая медленный роман,
Склонясь над собственной работой,
Мы все равно передний план
Предоставляем ей; туман,
Снежок с фонарной позолотой.

Так люди, ждущие письма,
Звонка, машины, телеграммы,
Лишь частью сердца и ума
Вникают в споры или драмы,
Поступок хвалят и строку,
Кивают: это ли не чудо? —
Но и увлекшись, начеку:
Прислушиваются к чему-то.

* * *

Нет лучшей участи, чем в Риме умереть.
Проснулся с гоголевской фразой этой странной.
Там небо майское умеет розоветь
Легко и молодо над радугой фонтанной.

Нет лучшей участи... похоже на сирень
Оно, весеннее, своим нездешним цветом.
Нет лучшей участи,— твержу... Когда б не тень,
Не тень смертельная... Постой, я не об этом.

Там солнце смуглое, там знойный прах и тлен.
Под синеокими, как пламя, небесами

Там воин мраморный не в силах встать с колен
Лежат надгробия, как тени под глазами.

Нет лучшей участи, чем в Риме... Человек
Верстою целою там, в Риме, ближе к богу.
Нет лучшей участи,— твержу... Нет, лучше снег,
Нет, лучше белый снег, летящий на дороге.

Нет, лучше тучами закрытое на треть,
Снежком слепящее, туманы и метели.
Нет лучшей участи, чем в Риме умереть.
Мы не умрем с тобой: мы лучшей не хотели.

* * *

В тридцатиградусный мороз представить света
Конец особенно легко.
Трамвай насквозь промерз. Ледовая карета.
Сухое, пенное, слепое молоко.

И в наших комнатах согреться мы не в силе.
Кроваво-красную не взбить в прожилке ртуть.
Весь день в России
За край и колется, и страшно заглянуть.

Так вот он, оползень! Они смешны с призывом
В мороз открытыми не оставлять дверей.
Сыпучий оползень с серебряным отливом.
Как в мире холодно, а будет холодней.

Так быстро пройден путь, казавшийся огромным!
Мы круг проделали — и не нужны века.
Мне все мерещится спина в дыму бездомном
Того нелепого, смешного седока.

Он ловит петельку, мешать ему не надо.
Не окликай его в тумане и дыму.
Я мифологию Шумера и Аккада
Дней пять вожу с собой, не знаю, почему.

Всех этих демонов кто вдохновил на буйство?
То в плач пускаются, то в пляс.
Бог просит помощи, его приводят в чувство.
Табличка с текстом здесь обломана как раз.

Табличке глиняной нам не найти замену.
Жаль царств развееанных, жаль бога-пастуха.
Как в мире холодно! Метель взбивает пену.
Не возвратит никто погибшего стиха.

* * *

Ваш выход — на мороз, и зрители выходят
На улицу, где им так холодно играть,
Где полчища машин с них ярких фар не сводят,
Где снег перестает, чтоб сыпаться опять,
А город ледяной напоминает сцену.
Каких актеров он видал,— не нам чета!
И снежную в садах сильней взбивает пену,
И гонит снежный прах с покатога моста.

Любимая, ну что ж, работа, как работа
Любая, и любовь, как всякая любовь.
Но ломкий голос твой! Откуда эта нота?
Уйми ее, умерь, смирись, не прекословь.
Быть может, классицизм, в его закатном блеске,
Трагическую роль навязывает здесь,
И входит грозный рок в обыденные пьески,
И снегом женский смех в сырую втянут смесь.

Прохожий на ходу смешно руками машет,
С собою говорит... оклики чудака,—
Безумно поглядит... тебе он не расскажет,
Что мучает его и гонит сквозь века.
Быть может, если снять трагическую маску
С фронтона... может быть, она всему виной...
Лиловую стереть с ночного неба краску,
На свет не выходить, прокрасться стороной...

СНЕГ

Ах, что за ночь, что за снег, что за ночь,
что за снег!

Кто научил его падать торжественно так?
Город и все его двадцать дымящихся рек
Бег замедляют и вдруг переходят на шаг.

Диск телефона не стану крутить — все равно
Спишь в этот час, отключив до утра аппарат. ←

Ах, как бело, как черно, как бело, как черно!
Царственно-важный, парадный, большой снегопад.

Каждый шишак на ограде в объеме растет,
Каждый сучок располнел от общественных сумм.
Нас не затопит, но, видимо, нас заметет:
Все Геркуланум с Помпеей приходят на ум.

В детстве лишь, помнится, были такие снега,
Скоро останется колышек шпилья от нас,
Чтобы Мюнхаузен, едущий издалека,
К острому шпилью коня привязал еще раз.

* * *

На петербургских старинных гравюрах
Снег не лежит на дворцах и скульптурах
И не идет никогда.
Вечнозеленые кроны густые,
А на Неве — мотыльки кружевные
И голубая вода.

Видно снесенную церковь Земцова,
Блещет зарытый канал.
Главного Штаба еще никакого
Нет: вместо Штаба — провал.

Пушкин еще не родился. Сгружают
Финский гранит, золотят, наряжают,
Щеголь глядит на возню.
Что-то еще выпирает неловко,
Но присмотритесь: идет подготовка
К майскому этому дню.

Едет читатель в карете куда-то
Цугом, с шутом и людьми...
Гоголь? Еще для него рановато,
Пусть подождет за дверьми.

Мойка, Фонтанка, Мильонная, Невский...
Улиц, где мог бы гулять Достоевский,
Нет. Значит, может не быть
Этих горячечных снов, преступлений?
Или, как дом, запланирован гений:
Строить здесь будут и рыть.

Другая жизнь! Где взять ее на всех,
Тепла на всех?
Но этой ведь хватило!
Я заблудился. Тьма из всех прорех.
Пока искал, душа моя остыла.

* * *

Что мне весна? Возьми ее себе!
Где вечная, там расцветет и эта.
А здесь, на влажно дышащей тропе,
Душа еще чувствительней задета
Не ветвью, в бледно-розовых цветах,
Не ветвью, нет, хотя и ветвью тоже,
А той тоской, которая в веках
Расставлена, как сеть;
ночной прохожий,
Запутавшись, возносит из нее
Стон к небесам... но там его не слышат,
Где вечный май, где ровное житье,
Где каждый день такой усладой дышат.

И плачет он меж Невкой и Невой,
Вблизи трамвайных линий и мечети,
Но не отдаст недуг сердечный свой,
Зарю и рельсы блещущие эти
За те края, где льется ровный свет,
Где не стареют в горестях и зимах.
Он и не мыслит счастья без примет
Топографических, неотразимых.

ПАВЛОВСК

Холмистый, путаный, сквозной, головоломный
Парк, елей, лиственниц и кленов череда,
Дуб, с ветвью вытянутой в сторону, огромной,
И отражающая их вода.

Дуб, с ветвью вытянутой в сторону, огромной,
С вершиной сломанной и ветхою листвою,
Полуразрушенный, как старый мост подъемный,
Как башня с выступом, военный слон с трубой.

И два-три желудя подняв с земли усталой,
Два-три солдатика с лежачею судьбой,
В карман их спрятали... что снится им? Пожалуй,
Рим, жизнь на пенсии и домик типовой.

Природа, видишь ли, живет, не наблюдая,
Вполне счастливая, эпох, веков, времен,
И ветвь дубовая привыкла золотая
Венчать храбрейшего и смотрит: где же он?

И ей на вышколенных берегах Славянки,
Где слиты русские и римские черты,
То снег мерещится и маленькие санки,
То рощи знойные и ратные ряды.

* * *

И в следующий раз я жить хочу в России.
Но будет век другой и времена другие,
Париж увижу я, смогу увидеть Рим
И к невским берегам вернуться дорогим.

Тогда я перечту стихи того поэта,
Что был когда-то мной, но не поверю в это,
Скажу: мне жаль его, он мир не повидал.
Какие б он стихи о Риме написал!

И новые друзья со мною будут рядом.
И, странно, иногда, испытывая взглядом
Их, что-то буду в них забытое искать,
Но сдамся, не найду, рукой махну опять.

А та, кого любить мне в будущем придется...
Но нет, но дважды нам такое не дается.
Счастливей будешь там, не спорь, не прекословь...
Ах, если выбирать, я выбрал бы любовь!





* * *

Любовь, уступчивость, боязнь обидеть словом,
Ведь слово колется, как шарфик шерстяной...
Такая ласковость, когда на все готовым
Стоишь уступчатой, расколотой стеной,
В земных условиях зимы и жесткой стужи
Небесной кажется, хотя на счет небес
У нас сомнения — и так мы неуклюжи
И свой преследовать привыкли интерес,
Что в беззащитности, на самом дне, таится
Не то что выгода, а все же тень ее,
Но пусть свидетельницей будет эта птица,
Полунебесное ведущая житье,
Я так люблю тебя, что мне не до уловок.
И птицам нравится в бойницах гнезда вить.
Мне б не спугнуть тебя, да знаю, что неловок,—
Не сбросить веточку и камень не свалить.

* * *

Любовь не связана с благоустройством.
Нет перспективы в жизни у нее.
Она глядит с тоской и беспокойством
На занавески, на жилье.

Как недоверчивость ее понятна к этим
Диванам и столам!
На них, стоящих здесь при лампы ярком свете,
Как положиться ей: ведь все решилось там.

И эта ласточка, наверное, за нею
Примчалась из страны теней.
На фоне зелени сквозной еще бледнее
Лицо, еще милей.

Зачем, крылатая, вид делаешь, что с юга?
В ночь не заманивай и скрыться не спеши,

Но сделай круг еще, прошу, еще полкруга,
Ведь мы гнезда не вьем, помедли, покружи.

* * *

Какая-то птица спросонок в гнезде встрепелулась.
О, как хорошо мы в ночной угнездились тени!
Откуда я знаю, что ты в темноте улыгнулась?
Но знаю! Улыбка, наверное, солнцу сродни.

Еще потому, что подушка, набитая пухом,
Какие-то птичьи внушает короткие сны,
Я весь начеку, словно птица; что делать со слухом?
В нем треск застревает, и шорох, и шелест весны.

И странно, что в этом огромном, распахнутом мире,
Не склонном кого-то шадить, вообще выделять,
Есть эта возможность вдвоем оказаться в квартире.
О, ночь, в твоих складках так страшно, так весело
спать!

Наверное, в скалах, в расселинах их и разломах
Так ласточки виснут, за счастье цепляясь крылом,
Под бурей, под ветром... нелепый какой-нибудь
промах...

В каком мы прекрасном и бедственном мире живем!

* * *

Стихи, в отличие от смертных наших фраз,
Шумят ритмически, как дерево большое.
Когда знакомятся, то имя, в первый раз
Произнесенное, смущает нас, чужое.

В них смысл проглядывает, словно из-за штор,
Переливается, как вещей сон под веком.
Когда знакомятся, то мнится: есть зазор
Меж легким именем и новым человеком.

Стихи прекрасные тем лучше, чем темней,—
Глазами пробовал на них взглянуть твоими.
В затылок строится весь ряд грядущих дней,
Когда родители дают ребенку имя.

Поосторожнее! Его судьбу своим
Неверным выбором навек определите.
Пеклась и нянчилась со словом стиховым,
Внимала голосу, готовилась к защите.

Поэты правильно читают — не чтецы.
И ленту с записью пускала вновь по кругу.
На имя, видимо, не матери — отцы
Влияют отчеством: идет подбор по звуку.

Нас познакомили. Играл на полках блик,
Скользил по комнате, по елочкам паркета.
Грустить не велено. И не вернуть тот миг,
Несовпадение, подобие просвета!

* * *

Твой голос в трубке телефонной,
Став электричеством на миг,
Разъятый так и угнетенный,
Что вид его нам был бы дик,
Когда бы слово «вид» имело
При этом смысл какой-нибудь,
Твой голос, сжатый до предела,
Во тьме проделав долгий путь,
Твой голос в трубке телефонной
Неуследимо, в тот же миг,
Из тьмы, ничуть не искаженный,
Как феникс сказочный возник.

Уж он ли с жизнью не прощался,
Уж он ли душу не терял
И страшно перевоплощался
В толченый уголь и металл?
И этот кабель, и траншея,
И металлическая нить
Невероятней и сложнее
Души бессмертья, может быть.

* * *

И нашу занятость, и дымную весну,
И стрижку ровную, машинную газонов,

Люблю я плеч твоих худую прямизну,
Как у египетских рабов и фараонов.

В бумажном свитере и юбке шерстяной
Над репродукциями радужных эмалей
Как будто бабочек рассматриваешь рой,
Повадку томную Эмилий и Амалий.

И странной кажется мне пышнотелость дам,
Эмалевидная их белизна и нега.
Захлопни рыхлый том: они не знают там
Ни шага быстрого, ни хлопотного века.

Железо — красные тона давало им,
И кобальт — синие, и кисть волосаяная
Писала тоненько, — искусством дорогим
Любуюсь сдержанно — чужая жизнь, иная!

На что красавица похожа? На бутыль.
Как эту скользкую могли ценить покатошь?
† Мне больше нравится наш угловатый стиль,
И спешка вечная, и резкость, и предвзятость.

* * *

Мне снился сон: ты в тамбуре с другим,
Вы шепчетесь, ты едешь, уезжаешь,
И холодно, и дождь, и едкий дым,
Лишь с ним ты говоришь, ему киваешь,
Его не рассмотреть мне, боже мой,
Как заняты вы тайным разговором!
Что делать мне? Домой идти, домой,
Под дождиком домой идти с позором.

Мне снился сон: ты с кем-то у окна
Вагонного, ты едешь, уезжаешь,
Меня уже не слушаешь, бледна,
Меня уже, забыв, не замечаешь,
Какой-то сверток, стянутый тесьмой,
Зайдя в купе, я должен взять с собою,
И плачу я, что этой ерундой
Я занят в этот миг, простясь с тобою.

* * *

В одном из ужаснейших наших
Задымленных, темных садов,
Среди изувеченных, страшных,
Прекрасных древесных стволов.
У речки, лежащей неловко,
Как будто больной на боку,
С названьем Екатерингофка,
Что еле влезает в строку,
Вблизи комбината с прядильной
Текстильной душой нитяной
И транспортной улицы тыльной,
Трамвайной, сквозной, объездной,
Под тучей, а может быть, дымом,
В снегах, на исходе зимы,
О будущем, непредставимом
Свиданье условились мы.

Так помни, что ты обещала.
Вот только боюсь, что и там
Мы врозь проведем для начала
Полжизни, с грехом пополам,
А ткацкая фабрика эта,
В три смены работая тут,
Совсем не оставит просвета
В сцеплении нитей и пут.

* * *

Какой-то волосок мешает говорить.
Ресничка к языку колючая пристала.
В глаза я целовал тебя: простить, забыть,
Простить просил, забыть, простить, начать сначала.

Под веками в тени — два сумрачных зрачка,
И быстрый поцелуй, как солнце их слепящий.
Не хмурься, подтверди, что жизнь горька, легка,
Горька, легка, горька, но знаем: смерть не слаще.

Казалось, что споткнусь, что их не два, а три.
И лишний поцелуй тому из них достался,
Что крепче был прикрыт. Зажмурься, не смотри!
И правый глаз хитрил, а левый притворялся.

Обидчивость не есть врожденная черта,
А кто-то виноват: друзья, дожди, подружки...
И ерзал солнца луч по зарослям туда,
Сюда, туда, пока не залил все в округе.

* * *

На берегу реки, название которой
Гремит на всю страну (не знал я, что она
Такой домашней быть умеет, как за шторой
Халат или стакан — тиха так и скромна), —
На берегу реки, на травке влажноватой,
Мы, вдвое плед сложив, похлопав по нему,
Легли, уставив взор в небесный свод покатый,
Нет, берег был покат, — дай, крепче обниму.

На берегу реки, державшей путь к столице
Среди глухих кустов и маленьких церквей,
Казалось: жизнь ушла — лишь мокрые ресницы
Остались, да любовь, да облачко над ней.
Не страшно умереть! Другой такой минуты,
Счастливейшей такой не будет для двоих —
Ведь все равно придешь, приди ж сейчас, окутай
Их милосердной тьмой... но смерть щадила их.

* * *

И хотел бы я маленькой знать тебя с первого дня,
И когда ты болела, подушку взбивать, отходить
От постели на цыпочках... я ли тебе не родня?
Братья? Сорок их тысяч я мог бы один заменить.

Ах, какая печаль — этот пасмурный северный пляж!
Наше детство — пустыня, так медленно тянутся дни.
Дай мне мяч, все равно его завтра забросишь, отдашь.
Я его сохраню — только руку с мячом протяни.

В детстве так удивительно чувствуют холод и жар.
То знобит, то трясет, нас на все застегнули крючки.
Жизнь — какой это взрослый, таинственный, чудный
кошмар!
Как на снимках круглы у детей и огромны зрачки!

Я хотел бы отцом тебе быть: отложной воротник
И по локти закатаны глаженные рукава,
И сестрой, и тем мальчиком, лезущим в пляжный тростник,
Плечи видно еще, и уже не видна голова.

И хотел бы сквозить я, как эта провисшая сеть,
И сверкать, растекаясь, как эти лучи на воде,
И хотел бы еще, умерев, я возможность иметь
Обменяться с тобой впечатленьем о новой беде.

* * *

Когда я у полки, одну выбираю из книг,
Мой ангел-хранитель, что делает он в этот миг?
Тогда отдыхает, спокоен вполне за меня.
Какое блаженство! Везенье ему среди дня!
Он может отвлечься (растет между нами просвет),
Присесть на диван (в нем нужды настоящей нет),
Поблажка для крыльев, простор, передышка для чувств.
Лишь краешком глаза отметит: Толстой или Пруст?

Когда я с тобою... о, если б на несколько строк
Дымящихся точек сейчас я осмелиться мог,
Когда я с тобою... молчанье... когда я томим
Сердечной тоскою,— он ангелом занят твоим!
Как взрослые люди о детях,— о нас говорят:
Что было, что будет, и вниз, беспокоясь, глядят,
И рады друг другу, и знают о чем-то таком,
О чем говорят, отстраняя детей, шепотком.

НОЧЬ

Бог был так милостив, что дал нам эту ночь.
Внизу листва шумела,
Бежала, пенилась, текла, струилась прочь,
Вздымалась, дыбилась, остаться не хотела.

Как будто где-то есть счастливее места,
Теплее, может быть, роднее.
Но нас не выманишь, как тех чижей с куста,
Они затихли в нем, оставь их,— им виднее.

Бог был так милостив, что дал нам этот век.
Кому не думалось про свой, что он — последний?

Так думал римлянин, так раньше думал грек,
Хотя не в комнатах топтались, а в передней.

Мне видеть хочется весь долгий, страшный путь
Неведенью предпочитаю знанье.
Бог был так милостив, что прежде чем уснуть,
Я дрожь ловил твою и пил твое дыханье.

При сотворении он был один, в конце
Свое смущение он делит вместе с нами,
И ночью тени на лице ➤
Волнами пенятся, колышутся цветами.

* * *

Как можно на лилию долго смотреть, любоваться
Ее белизной, если так непосильна борьба,
И тянет поток, и беспамятству влажного глянца
Так сладко предаться, и прядку откинуть со лба?

И лечь на диван... пусть шныряют жуки водяные,
И рябь наплывает, и тело, в сплошных пузырьках,
Лежит, погружаясь в слепые слои слюдяные,
Купается в солнце, в плывущих гурьбой облаках.

И все это несколько раз нам поведано было
В любимых стихах; на корягу наткнулась и в сеть
Попала рыбацью; так сильно при жизни знобило —
Теперь отпустило; как можно так долго смотреть?

Как можно на лилию долго смотреть? Ты лежала
Так тихо, как если бы что-то хотела забыть,
Вот-вот уплывешь, уплыла бы, когда б не держала
Последняя, тайная, тонкая, темная нить.

* * *

Среди ночных полей, покатыми холмами
Сползающих к лесам, мой друг, мы шли с тобой
По гулкому шоссе, и звезды шли за нами,
По трещинам и швам, и крался страх ночной.

Как поздно! Как тепло! Как был бы я встревожен,
Когда б я шел один... А так весь этот мир,

Как царство на земле, был под ноги положен
И горечью дышал... наркоз, туман, эфир...

Идти бы год, и два,— не полчаса до дома.
Кто черточки нанес на тусклый циферблат?
Пахучая полынь да скользкая солома.
Мы как жена и муж, и как сестра и брат.

И как душа с душой, и с тенью тень... все путы,
Веревки и узлы, стряхнув, кому отдать?
Как будто мы в раю, но в темном почему-то,
И в радости должны с опаскою ступать.





* * *

На выбор смерть ему предложена была.
Он Цезаря благодарил за милость.
Могла кинжалом быть, петлею быть могла,
Пока он выбирал, топталась и томилась,
Ходила вслед за ним, бубнила невпопад:
Вскрой вены, утопись, с высокой кинься кручи.
Он шкафчик отворил: быть может, выпить яд?
Не худший способ, но, возможно, и не лучший.

У греков — жизнь любить, у римлян — умирать,
У римлян — умирать с достоинством учиться,
У греков — мир ценить, у римлян — воевать,
У греков — звук тянуть на флейте, на цевнице,
У греков — жизнь любить, у греков — торс лепить,
Объемно-теневой, как туча в небе зимнем,
Он отдал плащ рабу и свет велел гасить.
У греков — воск топить и умирать — у римлян.

СОН

В палатке я лежал военной,
До слуха долетал троянской битвы шум,
Но моря милый гул и шорох белопенный
Весь день внушали мне: напрасно ты угрюм.

Поблизости росли лиловые цветочки,
Которым я не знал названья; меж камней
То ящериц узорные цепочки
Сверкали, то жучок мерцал, как скарабей.

И мать являлась мне, как облачко из моря,
Садилась близ меня, стараясь притушить
Прохладною рукой тоску во мне и горе.
Жемчужная на ней дымилась нить.

Напрасен звон мечей: я больше не воюю.
Меня не убедить ни другу, ни льстецу:
Я в сторону смотрю другую,
И пасмурная тень гуляет по лицу.

Триеры грубый киль в песок прибрежный вдавлен —
Я б с радостью отплыл на этом корабле!
Еще подумал я, что счастлив, что оставлен,
Что жить так больно на земле.

Не помню, как заснул и сколько спал — мгновенье
Иль век?— когда сорвал с постели телефон,
А в трубке треск, и скрип, и шорох, и шипенье,
И чей-то крик: «Патрокл сражен!»

Когда сражен? Зачем? Нет жизни без Патрокла!
Прости, сейчас проснусь. Еще раз повтори.
И накренился мир, и вдруг щека намокла,
И что-то рухнуло внутри.

* * *

Я знаю, почему в Афинах или Риме
Поддержки ищет стих и жалуется им.
Ему нужны века, он далями сквозными
Стремится пробежать и словно стать другим,
Трагичнее еще, таинственней, огромней.
И эхо на него работает в поту.
Он любит делать вид, что все каменоломни
В Коринфе обошел, все дворики в порту.

Он в наш вбегает день — идет снежок мучнистый,
Автобус синий дым волочит, как крыло,
И к снегу подмешав как будто прах кремнистый,
Стих смотрит на людей и дышит тяжело.
Сейчас он запоем, заплачет, зарыдает,
Застонет, завопит... но он заводит речь
Простую, как любой, кто слишком много знает,
Устал — и все равно не сбросит тяжесть с плеч.

* * *

Как пуговичка, маленький обол.
Так вот какую мелкую монету

Взимал паромщик! Знать, не так тяжел
Был труд его, но горек, спора нету.

Как сточены неровные края!
Так камешки обтачивает море.
На выставке все всматривался я
В приплюснутое, бронзовое горе.

Все умерли. Всех смерть смела с земли.
Лишь Федра горько плачет на помосте.
Где греческие деньги? Все ушли
В карман гребцу. Остались две-три горсти.

* * *

Когда шумит листва, тогда мне горя мало.
Отпряну, посмотрю на зрелый возраст свой;
Мне лишь бы смысл в стихах листва приподнимала,
Братался листьев шум со строчкой стиховой.

О, как я далеко зашел, как затуманен!
К вечерней ближе я, чем к утренней заре.
Теперь какой-нибудь Филипп Аравитянин
Мне ближе, может быть, чем мальчик во дворе.

Ветрами ли, песком, враждой ли исцарапан,
Изъевшей ли висок частичкой бытия,
Глядит поверх голов солдатский император,
И складочка у губ от горького питья.

Но так листва шумит, что, чем бы ни томила
Жизнь, весело сидеть за письменным столом.
На зло найдется зло, да и на силу сила,
И я — про шум листвы, а вовсе не о том.

* * *

Какой, Октавия, сегодня ветер сильный!
Судьбу несчастную и злую смерть твою
Мне куст истерзанный напоминает пыльный,
Хоть я и делаю вид, что не узнаю.

Как будто Тацита читала эта корона
И вот заламывает ветви в вышине
Так, словно статую живой жены Нерона
Свалить приказано и утопить в волне.

Как тучи грузные лежат на косогоре
Ничком, какой у них сиреневый испод!
Уж не Тирренское ли им приснилось море
И остров, стынувший среди пустынных вод?

Какой, Октавия, сегодня блеск несносный,
Стальной, пронзительный — и взгляд не отвести.
Мне есть, Октавия, о ком жалеть (и поздно,
И дело давнее), кроме тебя, прости.





ВЕСНА

Ум платит глупости за то, что та глупа,
Ум платит глупости и злу — добро, не сетуй.
А эта тонкая по вечности резьба,
Узор таинственный, сквозь эту тьму продетый...

Когда я выбежал, уже и след простыл
Той тихой музыки, той жалобы прохожей.
Кто нам сопутствует? Кто нам любовь внулшил
К весне томительной и влаге тонкокожей?

Овца в беспамятстве, когда ее стригут,
Лежит; наверное, твоя душа не проще.
Не удивляйся же, что больно ей, что жмут
Ей эти комнаты, и холода, и рощи.

* * *

Орнитолог, рискующий ласточку окольцевать,
Он, должно быть, не знает, какая морока
Ей над морем лететь, повинуюсь опять
Его вере слепой в каменный Тунис и Марокко.

Хорошо ему ждать, оставаясь на месте одном.
До чего он уверен в наличии знойного края!
То ли вычитал где-то о нем,
То ли трогал во сне шерсть верблюда и глину сарая.

Хорошо ему жить, да, увы, умирать тяжело.
Он представить боится разлуку.
Ему щель не видна — в нее можно просунуть крыло.
Если можно просунуть крыло, значит, можно и руку.

Вот о чем ему ласточка хочет сказать, ее крик
Так прерывист, как будто нарезан, но эти отрезки

Звука он принимать не привык
Близко к сердцу, как довод какой-нибудь веский.

Есть другие края, где и берег, и воздух иной.
Жаль любителя птиц, он расстался бы с жизнью
и домом
Легче, если бы знал, что во мгле неземной
Расщепленную тень обнаружит с колечком знакомым.

* * *

Как уголь чистит белых лошадей,
Как чад печной песком стирают с днища...
Но потопчись, ненастье, у дверей...
Душа не хочет выгоды своей,
Как ей скажу: там сделаешься чище!?

Она, при виде горя и обид,
Все, озираясь, бедная, твердит,
Что радость тоже сажу оттирает,
Что поцелуй, что живопись, что вид
На даль морскую... плачет, умоляет.

* * *

Полнеба заволок подробный материк
Вечерних дымных туч, и ветром прибывает
Отсталые дымки, как сны, к нему; старик
Сказал мне, что во сне он старым не бывает.

Волнение кустов, и смутный лет стрижа,
И рваные края в дороге истрепало,
И так синее даль, как если бы душа
В сохранности вне нас счастливой пребывала.

И мертвые,— сказал,— являются ему
Живыми... Хороша изрезанная кромка.
Так блещет полоса прибрежная в Крыму.
Не спит ли в нас кора, не дремлет ли подкорка?

И домики к земле под тенью грозовой
Прибиты, как листва; я снов своих не помню.
Должно быть, жизнь моя полна еще тщетой
И счастьем, а на снах покуда экономлю.

* * *

Пойдем! Поедем! — говорят
Те, кто в беспамятстве лежат,
Томятся в этой проволочке.
О, как им, бедным, тяжело здесь!
Как будто смысл метаний весь —
Скорее сняться с мертвой точки.

Кто умирающему был
Сиделкой, — смерти пригубил
И знает, как с постели рвутся,
Пойдем! Поедем! — говорят,
Поверх любви твоей глядят
И отправленья не дождутся.

* * *

По эту сторону таинственной черты
Синеет облако, топорщатся кусты,
По эту сторону мне лезет в глаз ресница,
И стол с приметамы любимого труда
По эту сторону, по эту... а туда,
Туда и пуговице не перекачаться.

Свернет, покружится, решится замереть.
Любил я что-нибудь всю жизнь в руке вертеть,
Пора разучиваться. Перевоспитанье
Тьмой непроглядною, разлукой, немотой.
Как эта пуговичка, я перед чертой
Кружусь невидимой, томленье, содроганье.

* * *

Не из всякого снега слепить удастся снежок,
Иногда он, как порох, в руке рассыпается сразу.
Я люблю эти иглы, веселый морозный ожог.
И слова не всегда в безупречную строятся фразу.

И не всякие строки спешат обернуться стихом.
У нелепицы есть оправданья свои и мотивы.
Например, в этом воздухе, может быть, слишком сухом,
Нет сцепленья для мыслей: отдельны они и пугливы.

Все равно хорошо средь рассыпчатой белой зимы,
Расторопно, свежо! — недоволен лишь мальчик дворовый.
Завтра спит снежок, а сегодня попробуем мы
Ни о чем не тужить и зимой насладиться суровой.

И звезда о звезду обломает скорее лучи,
Чем, утратив отдельность, с ней в кашлицу слиться захочет.
Так стяхни ж этот снег и, перчатку надев, помолчи.
Не всегда говорит, иногда и разумный — бормочет.

* * *

Прости, волшебный Вавилон
С огромной башней, как рулон
Небрежно свернутой бумаги.
Ты наш замшелый, ветхий сон.
Твои лебедки помню, флаги.

Мне стоит в трубочку свернуть
Тетрадь, газету, что-нибудь,
Как возникает искушение
Твою громаду помянуть
И языков твоих смещение.

Гляжу в окно на белый снег.
Под веком — век, над веком — век.
Где мы? В конце ль? У середины?
Как горд, как жалок человек!
Увы, из крови он, из глины.

Он потный, жаркий он, живой.
И через ярус круглый свой
Ему никак не перепрыгнуть.
Он льнет к подушке головой,
Он хочет жить, а надо гибнуть.

* * *

Как буйно жизнь кипит на стенках саркофага!
Здесь и весна, и страсть, и гордый Ипполит
С собакой и конем, не сдерживая шага,
От мачехи письмо отвергнуть норовит.

Стояли долго мы пред мраморным рассказом,
Смерть жизнью с четырех сторон окружена
И льнет к морским волнам, ступеням и террасам,
К охоте и любви, за камнем не видна.

Там кто-то горько спит,— живые только сладко
Спят,— мерно обойдя его со всех сторон,
Мы видим: жизнь и смерть — единая двойчатка,
На смертном камне мир живой запечатлен.

Конюших провести беспечною гурьбою,
Кормилицу пригнуть, морской раскинуть вал...
Жизнь украшает смерть искусною резьбою,
Без смерти кто бы ей сюжеты обновлял?





* * *

То, на что не надеешься, предпочитает сбываться.
Что-то детское есть в этих играх судьбы, что-то бабье.
Суеверия женские... Скажешь: чего нам бояться?
Это так далеко от нас, как Гурилев и Алябьев.

Но какая-то музычка под вечер с черного входа
Поднимается в дом, по ладони гадает и плачет:
Не загадывай, эй, не рассчитывай — ни на полгода,
Ни на сутки вперед — или случай все переиначит,

Так темна, словно очередь за порошком или брюквой.
Шелестящая юбкой, бубнящая что-то нелепо
Не большая судьба, а домашняя, с маленькой буквы,
Тем не менее с ней как-то связано звездное небо.

Что-то, видимо, есть, не на той высоте безупречной,
Где гостит наша мысль, а поближе к поверхности, что ли:
Плутоватый смешок, интерес вороватый сердечный,
Вызывающий вдруг паралич нашей мысли и воли.

БАНКЕТ

Банкет — это что-то для Гоголя, что-то
Для взора его ястребиного, это
Салфетки в помаде и пепел в салате,
И гомон несвязный, и стол пэ-образный,
Как будто упавшие навзничь ворота;
Банкет — это что-то для Гоголя, это
Гуськом на столе нестандартные яства,
И розданы роли, и гладью паркета
Повержен новейший Ноздрев и распластан,
С подшефного он, извините, завода
И только что за ноги дам не хватает;
Банкет — это символ большого расхода,
Когда человек коллектив уважает.

А сам именинник, вернее, виновник
Сего торжества, защитивший успешно,—
Все хвалят проект его, то есть коровник,
Поэму, в металле и камне, конечно.
Наклон есть такой у тяжелого тела,
Так за спину руку кладут, словно прячут
В ней розу. О боже, а мне что за дело,
Что прочат на должность его и назначат?
А все-таки взгляд не решается мимо
Скользнуть, но старается встретиться взглядом
С начальством. О, пошлость, ты неистребима:
Во-первых, ты в нас, во-вторых, с нами рядом.

И все-таки к тем, кто хотел бы сатиру
Прочсть между строк, я навстречу не выйду.
Смешны и нелепы претензии к миру,
Такому смешному и жалкому с виду,
Но втайне хранящему правду и совесть.
Мы все по отдельности лучше, чем вместе;
Банкет — это две-три страницы, а повесть
Не вся — в этой фразе, не вся — в этом жесте;
Бичу Ювенала сочувствую мало;
О, знал бы сатирик, как будут в постели
Ворочаться те, кто всех больше шумели;
А то, что мы вдруг попадаем в типажи
И в жестах своих узнаем типовые,—
На то и банкет, и нельзя же, нельзя же
Всем нитям в клубке предпочсть золотые.

* * *

Словно войлоком снизу подбитый, колючий, зубчатый,
Остролистый, ребристый, ворсистый мордовник резной,
И шерстистый татарник, и рыхлый, как будто помятый
Угловатый осот,— кто кусал их, кто резал пилой?

Словно жеваный, нет, словно порванный или избитый,
Несмотря на колючки, изглоданный кем-то бодяк,
О, какие невзгоды, уколы, удары, обиды
Изувечили их, изъязвили, изрезали так?

Почему для одних — только кисточки, бархатка, вата,
Почему эту лилию нежат проточной водой?
Ах, свербига, наверное, в чем-то и впрямь виновата,
Что подпилком прошлись и удар нанесли ножевой.

И когда человек, уязвленный тоской, вдоль канавок,
По задворкам бредет, по шершавым, колючим, сухим,
Что б ему постоять,— пригодился бы, может быть,
навык,
Постоять, помолчать, приглядеться внимательней к ним!

* * *

Вы, облако и сад,
Я только что из ада,
Истерзан и разъят.
Мне так нужна прохлада,
Так бегаёт мой взгляд.

Споткнусь, чуть не упав.
Как страшно человеком
Быть! В саже мой рукав.
Смущен своим я бегом
Средь рытвин и канав.

Вам жаловался Лир,
Вы Гамлету внимали.
Неужто есть ранжир?
Те — из дворцов сбегали
В слезах, мы — из квартир.

Разбитых вдрызг корыт
Не счесть, сердечных капель.
Двор вечно перерыт:
То теплосеть, то кабель.
Трясет меня, знобит.

И что всего больней —
Прекрасен мир огромный.
Смертельный стыд. Скорей
В тени укрыться темной
Кипящих тополей.

Облизан языком
Огня, дождем обрызган,
О, в горестном каком
Я занят жанре низком
И с ужасом знаком!

* * *

И если спишь на чистой простыне,
И если свеж и тверд пододеяльник,
И если спишь, и если в тишине
И в темноте, и сам себе начальник,
И если ночь, как сказано, нежна,
И если спишь, и если дверь входную
Закрыл на ключ, и если не слышна
Чужая речь, и музыка ночную
Не соблазняет счастьем тишину,
И не срывают с криком одеяло,
И если спишь, и если к полотну
Припав щекой, с подтеками крахмала,
С крахмальной складкой, вдавленной в висок, †
Под утюгом так высохла, на солнце?
И если пальцев белый табунок
На простыне доверчиво пасется,
И не трясут за теплое плечо,
Не подступают с окриком и лаем,
И если спишь, чего тебе еще?
Чего еще? Мы большего не знаем.

* * *

И дару своему взрослеющий художник
Не радуется: дар, как долг, его томит.
И втопан в глинозем широкий подорожник,
Как символ чьих-то бед безмерных и обид.

Быть может, зло с добром в таком соотношенье,
Что мы, себе с утра вымаливая день
Счастливым, всем другим готовим невезенье.
Нам — солнце, всем другим — одну сплошную тень.

Быть может, как расход сверяется с доходом,
Подводится баланс неведомый в ночи.
Быть может, под ночным промозглым небосводом
Сосчитан весь запас, все листья, все лучи.

О, справочник щедрот, ночная картотека!
Что в детстве потрясло и в памяти живет?
Что репинский, как моль придавленный, калека
Спешит на костыле, вцепившись в крестный ход.

* * *

Нет, не вы всех счастливей, а этот, в вагонном окне
На пустынной платформе сидящий, от всех в стороне,
К станционной решетке прижавшись ребристой, сквозной,
Моторист или сцепщик, и куст у него за спиной.

Все куда-то спешат, он один никуда не спешит,
Белым войлоком куст, облюбленный ветром, подшит,
Нет, не вы всех счастливей; просторно, пустынно, свежо,
Все мы едем куда-то, ему же и здесь хорошо.

Неподвижен; а куст, все зеленое внутрь подобрал,
Ослепительно-бел, утомительно-буен, кудряв.
Ах, и встал бы — упал, потому что, куда ни взгляни,
Шага сделать нельзя по такой торопливой тени.

Сколько раз я видал, как кусты обгоняли людей,
Те бежали на поезд, а куст из последних дверей,
Из захлопнутых, им отразившейся ветвью махал.
Нет, не вы всех счастливей; мелькнул — и за далью
пропал.

* * *

Мне кажется, что жизнь прошла.
Сстались частности, детали.
Уже сметают со стола
И чашки с блюдами убрали.
Мне кажется, что жизнь прошла.
Остались странности, повторы.
Рука на сгибе затекла.
Узоры эти, разговоры...

На холод выйти из тепла,
Найти дрожащие перила.
Мне кажется, что жизнь прошла.
Но это чувство тоже было.
Уже, заметив, что молчу,
Сметали крошки тряпкой влажной.
Постой... еще сказать хочу...
Не помню, что хочу... неважно.

Мне кажется, что жизнь прошла.
Уже казалось так когда-то,
Но дверь раскрылась — то была
К знакомым гостя, — стало взгляда
Не отвести и не поднять;
Беседа дрогнула, запнулась,
Потом настроилась опять,
Уже при ней, — и жизнь вернулась.

* * *

Жизнь кончилась, а смерть еще не знает
Об этом. Паузу на что употребим?
На строки горькие, в которых западает
Смысл, словно клавиши, — не уследить за ним.

Шумите, круглые, узорные, резные,
Продолговатые, в прожилках и тенях!
Уже отчетливо видны края иные,
Как берег в трещинах, провалах и камнях,

Изрытый бурями, и видишь: не приткнуться.
Мне жизнь привиделась страшней, чем страшный
сон,
Я охнул, дернулся — и некуда проснуться:
Все та же комната, все тот же телефон.

И все же в радости ее назвать прекрасной
Неосмотрительно, и губельной — в беде.
Как все изменчиво! И тополь, то ненастный,
То ослепительный, клубится в высоте.

* * *

Что шума деревьев просторней и шире?
Лишь моря накат вдоль дорожных обочин.
Наверное, не уменьшается в мире
Количество зла — и процент его точен

И вечен, иначе бы лопнуло что-то,
Нарушился принцип и ось надломилась,

Но кроны — вне сметы, и волны — без счета,
И в этом — великая радость и милость!

Иль думаешь, гений, которого в прошлом
Природа, любуясь собой, поместила,
Провел свою жизнь меж постыдным и пошлым,
А ты опоздал — и тебе пофартило?

Ни зло не минует, ни счастье не минет,
Умрем — равновесие это продлится,
О, только бы вниз по полыни, по глине,
По щебню — к шумящему морю спуститься!





* * *

«... под говором валов...»

К. Батюшков

Кто первый море к нам в поэзию привел
И строки увлажнил туманом и волнами?
Я вижу, как его внимательно прочел
Курчавый ученик с блестящими глазами
И перенял любовь к шершавым берегам
Полуденной земли и мокрой парусине,
 И мраморным богам,
И пламенным лучам, — на темной половине.

На темной, ледяной, с соломой на снегу,
С визжащими во тьме сосновыми саями...
А снился хоровод на ласковом лугу,
 Усыпанном цветами,
И берег, где шуршит одышливый Эол,
 Где пасмурные тени
Склоняются к волне, рукой прижав подол,
Другую — шелестя в курчавящейся пене.

И в ритмике совпав, поскольку моря шум
Подсказывает строй, и паузы, и пенье,
 Кто более угрюм? —
Теперь не различить, — вдохнули упоенье,
И негу, и весну, и горький аромат,
И младший возмужал, а старший — задохнулся,
 Как будто выпил яд
Из борджиевых рук — и к жизни не вернулся.

Но с нами — дивный звук, таинственный мотив
Столетие спустя очнулась флейта эта!
Ведь тот, кто хвалит жизнь, всегда красноречив.
Бездомная хвала, трагическая мета.
Бессонное, шуми! Подкрадывайся, бей
В беспамятный висок горячею волною,
 Приманивай, синей,
Как призрак дорогой под снежной пеленою.

ФЛЕЙТИСТ

Откуда родом бронзовый флейтист?
Мне флейты родниковый снится голос.
Не с Крита ли, который так дуплист
И вытянут? Эвбея, Скирос, Родос...

Он голову чуть набок наклонил.
Он видит, что и звезды звуку рады.
Он думает: кто в море накрошил,
Как в миску с супом, черствые Споряды?

Других вопросов он не задает.
Кто флейту изобрел, ему известно.
Упала к нам с озвученных высот —
Теперь на ней играют повсеместно.

Кинь что-нибудь — мы подберем с земли
И к надобностям смертным приспособим.
Он ерзает, и руки затекли,
И холодно, и смотрит исподлобья.

Но, выщербленный, он не видит нас
За скважистыми, как скала, веками.
А палец в круглой дырочке увяз,
И жизнь согрета теплыми губами.

* * *

Машина вдоль пляжа бежит у волны на виду
Так быстро, так мягко, как будто в ней нет никого.
Орехи растут у счастливца при доме в саду,
И дерево трудится лет пятьдесят на него.

Вот видишь, как можно с прохладцей и празднично
жить,
И щелкать орешки — вкуснее, чем грызть карандаш,
Склоняться к столу и печали свои ворошить.
Закрою глаза и увижу машину и пляж.

Закрою глаза и увижу: машина бежит
Вдоль пляжа, и волны, в кабину стремясь заглянуть,
Встают на носочки, — и я бы не помнил обид,
Когда б за орешком мог руку к ветвям протянуть.

Мой друг полагает, что зависть в основе основ,
Что движутся ею поступки, порывы, миры,
Что кроны завидуют включенной пене валов,
А волны — дубам, накрывающим тенью дворы.

Но с чадолюбивым, обросшим шершавой корой,
Раскидистым деревом надо родиться... как дар,
Дается не каждому гений с поникшей листвою,
Сладчайшие ядрышки прячущий в жесткий футляр.

* * *

Когда впервые мы с тобой
Спустились к морю по тропе
И волны темною толпой
Шли, загребая при ходьбе
Медуз и камешки, с тоской
Прижалась ты ко мне, подбой
Их черный страшен был тебе.

У этих пасмурных зыбей,
У черных ярусов и лож,
Ты мне сказала, что своей
Никак ты жизнь не назовешь,
Что никогда привыкнуть к ней
Ты не могла, что эта дрожь
Тебе знакома с первых дней —
Пространство, вспененное сплошь.

Потом мы жили день за днем
Вблизи сверкающих валов;
То вдруг, затихнув перед сном,
Являлось, шелковый покров
Накинув, с ласковым челом
Как бы учить тебя с азов,
И многих стоило трудов,
Обняв тебя, нам с ним вдвоем
Разубедить в конце концов.

Мы спорили, вал белопенный был нашему спору под стать,
Что нищие духом блаженны и как эту фразу понять?

И я говорил, что как дети в неведеньи сердцем чисты,
Как солнцем нагретые сети и дикие эти кусты,

Лазурная в море полоска и донная рыжая прядь,
Что я бы хотел у киоска с похмелья за пивом стоять.

А ты говорила, что мрачный, стоящий за пивом с утра,
Как лист изможденный табачный, как жесткая эта кора,

Как эти кусты у обрыва с обломанной ветвью сухой —
То встречного ветра пожива, то вздыбленной гривы
морской,

Что жить еще горше на свете, когда не осмыслить утрат,
А дети... ты вспомни, как дети на взрослые Царства глядят!





ПЧЕЛА

Пятясь, пчела выбирается вон из цветка.
Ошеломленная, прочь из горячих объятий.
О, до чего ж эта жизнь хороша и сладка,
Шелка нежней, бархатистого склона покатай!

Господи, ты раскалил эту жаркую печь
Или сама она так распалилась — неважно,
Что же ты дал нам такую разумную речь,
Или сама рассудительна так и протяжна?

Кажется, память на время отшибло пчеле.
Ориентацию в знойном забыла пространстве.
На лепестке она, как на горячей золе,
Лапками перебирает и топчется в трансе.

Я засмотрелся — и в этом ошибка моя.
Чуть вперевалку, к цветку прижимаясь всем телом,
В желтую гущу вползать, раздвигая края
Радости жгучей, каленьем подернутой белым.

Алая ткань, ни раскаянья здесь, ни стыда.
Сколько ни вытянуть — ни от кого не убудет.
О, неужели однажды придут холода,
Пламя погасят и зной этот чудный остудят?

* * *

Весь день ботаникою занята пчела,
А зоологию еще не открывала,
Из класса пятого она не перешла
В шестой, в шиповнике, в его цветах застряла.

Тропинка узкая; колюч он и горяч,
Куст подозрительный, не избежать царапин.

Что, второгодница? Попробуй ум напрячь,
Запомнить что-нибудь в узоре и накрапе.

Такие яркие бывают дни в году,
Такие знойные, что, веки закрывая,
Стоишь и чувствуешь, как кровь бубнит в бреду
Про желчь пустырника, про лимфу молочая.

И что-то давнее всплывает в ум тогда;
Ногой примята, крапива пахнет грубо.
Откуда синтаксис заимствован? Ах, да:
«Про ум Молчалина, про душу Скалозуба».

Мне лето весело хватать горячим ртом,
Бродил бы, кажется, вдоль берега день целый.
Сначала белая, царапина потом
Проступит явственно на кисти загорелой.

Я боль недолгую в свидетели зову
Блаженства райского, что это все не снится.
Солоноватая! Я все еще живу,
И страшно вымолвить: пора остановиться.

* * *

Песчинки, камешки, клочки сухой резины,
Дощечки, щепочки, разбитого стекла
Осколки, жесткий след изрывшей землю шины,
Лягушек высохших распятые тела,
Напоминающие лопнувший воздушный
Шар, ямы, выбоины, трещины, бугры,
Порханье бабочки у самых спиц тщедушной,
Подъем на горку, спуск, такой крутой, с горы,
Не надо, бабочка, мне затруднять движение:
Собьюсь — зачем тебе рассеянность моя?
Сучки, соломинки, корней переплетенье,
Густая лужица, сухая колея,
Когда вчера она мне предложила чаю,
Остаться надо было, веточка, лишай,
Железка, что же я всегда себе мешаю,
Потом жалею, жук, известка, иван-чай,
Малины давленной сиреневые пятна,
Окурок, гусеница в шубке меховой,
Поганка, выброшенный кем-то безоглядно

Башмак — и нехотя посмотришь: где другой?
Травинки, все это для велосипедиста
Средь рощ подветренных и шерстяных полян
Неописуемо, неизъяснимо чисто,
Полуосознанный, полуразмытый план.

* * *

Партитура, с неровной ее бахромой,
На манер балдахина с кистями.
Черный ветер колышет ее предо мной,
Страсть чужая вздымает волнами.

Я как будто в морской заблудился траве,
Не продрасться сквозь заросли эти.
Кто-то музыку держит, как мысль, в голове,
Переметы в ней ставит и сети.

Мне мерещатся сумерки венских аллей,
Я дворцовую вижу ограду.
Бог втыкает в страну гениальных детей,
Как в садовую грядку — рассаду.

О, как много наклеено черных ресниц!
Словно смотрит с широкой страницы
Целый класс или курс продувных выпускниц:
Банты, ленты, ужимки, косицы.

Словно где-то стоит музыкальный плетень,
Струнный звук в нем пропущен сквозь трубный,
А сюда, на страницу, отброшена тень
Этой музыки, мне недоступной.

Как поклеванный птицами сад, как тряпье
Или куст облетевшей сирени.
Появись кто-нибудь, расколдуй мне ее,
Оживи эти черные тени!

* * *

А воз и ныне там, где он был найден нами.
Что делать? — вылеплен так грубо человек.
Он не меняется с веками,
Хотя и нет уже возов тех и телег.

Известно каждому, что входит в ту поклажу:
Любоначалие, жестокость, зависть, лесть,—
Я горло выстужу и руки перемажу,—
И доблесть ветхая, и честь.

Застрял... Вселенная не слышит наших криков.
Что ей, дымящейся, наш скарб, добро и зло,
И пыл ребяческий Периклов?
Ее, несметную, размыло, развезло.

Колеса грубые по оси в землю врыты.
Под них подкладывали лапник и тома
Священных кодексов, но так же нет защиты,
И колет тот же луч, и дышит та же тьма.

Иначе разве бы мы древних понимали?
Как я люблю свои единственные дни!
И вы не сдвинули, и мы не совладали
Средь споров, окриков, вражды и толкотни.

* * *

Сегодня грустно мне: вчера я счастлив был.
Вчерашним счастьем жить лишь в молодости
можно.

Ах, в молодости все: березовый настил,
Пружиня под ногой,— и тот готов тревожно
И радостно внимать молчанью твоему,
И берег торфяной, и чахлая осина
Завидуют тебе, и, мнится, есть кому
Подробности любви выпытывать невинно.

Но в зрелые года с кустом не говоришь,
А если говоришь, то темой разговора
Становишься не ты, а веточка, как мышь
Промокшая, да вязь древесного узора.
А счастью отведен свой ящичек, графа,
На все вокруг оно разлитым быть не хочет,
И слышишь, как шумит болотная трава,
Что снизу тянет топь, а сверху дождик мочит.

ВЫРИЦА

Осенью вода в реке такая
Яркая, что страшно за нее,

Синяя, железная, густая.
Водоросли с края
Треплются, как на ветру тряпье.

Облетели листья, и поселок
Ниже стал, припал к земле, осел.
Всё насквозь видать: зеленых шторок
Больше нет, лишь елок
Зелен ряд, а там опять — пробел.

Плохо дяде Васе со стройбазы —
Никуда не скрыться от жены:
Все его финты и выкрутасы,
Всплески, переплясы,
Все восьмерки издали видны.

Схвачены шнурком малины плети,
Чтоб не поломалась в зимнем сне.
Вырица — не лучшее на свете
Место, бог свидетель,
Так, третьеразрядное вполне.

Уезжали — кресло позабыли
В дом втащить; сезонное житье —
Самое рассеянное; мы ли
Здесь так шумно жили?
Жизнь ушла — остались от нее

Жалкие следы; недолговечен
Рай земной и осенью продут.
Да и был ли так уж он беспечен,
Кротостью отмечен?
Станешь жить, а беды тут как тут.

Иногда приснится сон, похожий
На другой, что снился год назад.
Словно где-то держат их и множат,
Копией расхожей
Возвращают, прокрутив, на склад.

Сам себе построил жизнь такую, —
Не пеняй; привязана она
К общей жизни, — с нею я рискую,

И на воду дую,
И вхожу в крутые времена.

На ветру поникший бьется кустик,
Дрожь бежит по вянущей траве.
Мне не грустно.
Если блещет зыбь на главном русле,
То должна быть рябь и в рукаве.

Есть поэты с фотообъективом,
Их самих снимающим в упор:
Отбегут, замрут перед штативом
С видом сиротливым,
Обгнав щелчок, потупив взор.

Лишь стихи подробной лучше прозы!
Если вдруг удастся посреди
Рваных строф — ответить на вопросы,
Не вставая в позы,
Не стремясь быть в фокусе, прости.

Ни один бинокль на нас не вскинут.
Я себе представить не могу
Жизни, из которой сумрак вынут.
Руки стынут.
Хорошо на утлом берегу.

Иногда влечет пустынный берег.
Как известно, весь его наклон
Клонит к думам. Так сидят в партере
Вне забот сценических, истерик.
Надоело — вышли вон.

* * *

Всё на стайку бы рыбок смотрел,
На прозрачные, скользкие тени.
Кто построить сумел
Золотые, проточные сени
Для их маленьких пасмурных тел?

Это — рай на песке,
Переливчатый, донный, волнистый.
Пил однажды в подвале, в низке,

Я шипучий напиток игристый,
Блик лежал у меня на виске.

Всё за рябью бы желтой следил,
Всё за синей бы следовал гладью,
Навалясь на дощатый настил
С травянистою мыльною прядью.
Всё забыл бы, простил.

И рука, преломясь под углом
В замутненном песочком составе,
Словно вывихнута в локтевом
Посиневшем суставе:
Пальцы толщу разводят с трудом.

Пауков водомерная прыть.
Кем задумана точность такая?
Можно веки прикрыть,
Ледяное вино попивая.
Всё равно не забыть, не простить.

Друг за другом, подобием стрел
Или мелких масштабных делений,
Торопясь за предел
Струй подспудных, подводных течений.
Всё на стайку бы рыбок смотрел.

* * *

Как бабочка, как бабочка ни разу
О гусенице вспомнить не рискнет,
А вспомнила бы — горькую гримасу
Скроила бы, причудливый полет
Над полем совершая и болотом,—
Так ты, душа, от тленья улетев,
Вернуться не захочешь ни к заботам,
Ни к радостям, ни в Псков, ни в Новоржев.

Как бабочка, как бабочка... Возможно,
Наверное, пожалуй, может быть.
И крыльями узорными роскошно
Мигая, навсегда утратить нить

Связующую... нравится — налево,
Не нравится — направо, по верхам.
А все-таки без Пскова, Новоржева,
Без Порхова, хоть я и не был там...

* * *

Хлебом меня не корми, но позволь заглянуть
В стеклышко, линзу, подзорную даль, что-нибудь.
В геодезический теодолит, например,
Помню, однажды мне дал посмотреть инженер.

Что за услада — в бинокль заманить полевой
Дальнюю мачту, какой-нибудь шпиль ледяной
И, отнимая бинокль от обласканных глаз,
К жизни вернуться, с утра окружающей нас!

Ах, и от прозы, которая нравилась мне,
Тот же эффект возникал, словно наедине
С дивным прибором оптическим дали побыть:
Новое зренье — и можно ль по-прежнему жить?

Пристальный мир! Прислонись же к нему, улыбнись.
Может быть, смерть — это смена оптических линз?
В ракурсе новом увидишь знакомый предмет.
Что за таинственный, сладостный, горестный свет!



ОБЩИЙ ЗАМЫСЕЛ



* * *

Эта тень так прекрасна сама по себе под кустом
Волоокой сирени, что большего счастья не надо:
Куст высок, и на столик ложится пятно за пятном,
Ах, какая пятнистая, в мелких заплатах, прохлада!

Круглый мраморный столик не лед ли сумел расколоть,
И как будто изглодана зимнею стужей окружность.
Эта тень так прекрасна сама по себе, что господь
Устранился бы, верно, свою ощущая ненужность.

Боже мой, разве общий какой-нибудь замысел здесь
Представим — эта тень так привольно и сладостно
дышит,
И свежа, и случайность, что столик накрыт ею весь,
Как попоной, и ветер сдвигает ее и колышет.

А когда, раскачавшись, совсем ее сдернет, — глаза
Мы зажмурим на миг от июньского жесткого света.
Потому и трудны наши дни, и в саду голоса
Так слышны, и светло, и никем не задумано это.

* * *

Букет шиповника садового,
Сопротивляясь, был не сразу,
Лишь после натиска сурового,
Как кошка в сумку, втиснут в вазу,
И в ней, смирясь, затих.

Угрюмый вид с лица и загнанный
Сползал и тень с лица сходила,
Пока рукою исцарапанной
Цветочки в чувство приводила,
Расталкивая их.

Всем зноем сада, суматошною
Красой и мглою смуглолицей
Цветы способны в наше прошлое,
Леча от старых травм, зарыться.
Психоанализ слаб.

Ты глубину тоски измерила.
Но в нашем веке кто не болен?
Когда бы ты цветам поверила,
Их теплоте и шелку, что ли!
Их запаху хотя б.

Вся жизнь с ее размытой формой
И содержанием летучим
Зависит от того, что нормою
Считать. Насколько было б лучше
Не рыскать по шкале!

Ты б засыпала без снотворного.
Нет никого без отклонений
Сегодня в ту иль в эту сторону,
Но лучше в ту, где добрый гений —
Шиповник на столе.

* * *

К спине быка прикручена красотка
Тугим шнуром, как сверток к чемодану.
Его подрагивающая походка,
Ах, я ее описывать не стану.

Скажу лишь: он, кренясь, как парус в бурю,
По лопухам бежит, чертополоху.
И я смотрю, смотрю и брови хмурю,
Но мне не жаль кричащую дуреху.

Она сама все это заслужила,
Трясла кудрями, юбками шуршала.
Когда б не бог, то никакая сила
Ее к спине быка б не привязала.

Быка мне жаль: в горячей пене губы,
Не на волнах хрипит он, — на пригорках,
И не Европу он похитил, грубый,
А Карменситу в розовых оборках.

Как долгон путь, как бьется сердце бычье!
Бежит, бежит, потом в тени приляжет,
Опять бежит... кричащая добыча
Ему еще, свирепому, покажет!

ПАН

Бог, на плечи ягненка взвалив,
По две ножки взял в каждую руку.
Он-то вечен, всегда будет жив,
Он овечью не чувствует муку.

Жизнь овечья подходит к концу.
Может быть, пострижет и отпустит?
Как ребенка, несет он овцу
В архаичном своем захолюстье.

А ягненок не может постичь,
У него на плече полулежа,
Почему ему волны не стричь?
Ведь они завиваются тоже.

Жаль овечек, барашков, ягнят,
Их глаза наливаются болью.
Но и жертва, как нам объяснят
В нашем веке, свыкается с ролью.

Как плывут облака налегке!
И дымок, как из шерсти, из ваты.
И припала бы к божьей руке,
Да все ножки четыре зажаты.

* * *

Ах, сколько уловов! И дождь, вытирая слезу,
Смеется в кустах и сквозит за сырым ивняком.
И в стадо овечье пастух запускает козу,
И бедные овцы считают ее вожаком.

И логики в мире не надо искать. По холмам
От включенной тучи крадется кудлатая тень.
Откуда такое доверье к бесплотным словам?
Ах, смысл бы, как шапку, чуть-чуть надевать
набекрень.

Когда влюблены, мы вполне забываем о нем.
Не то чтоб совсем от него отказаться, но знать,
Но помнить, что больше улыбкой, чем силой, возьмем.
Все мягкая травка мне снится да жесткая прядь.

Послушной отаре зато далеко не уйти:
Пастух, засыпая, бредет, словно сквозь забытье,
Коза объедает какой-нибудь куст на пути —
И топчутся овцы вокруг, поджидая ее.

* * *

И где бы я ни жил, в квартире подо мною
Строгают и стучат стамеской, молотком.
Какой там ладят ларь, братаясь с тишиною?
И с эхом обнявшись, какой сундук с замком?

Преследует других с квартиры на квартиру
Переходящий лай и фортепьянный гул,
А мне вгоняют гвоздь в строку, как будто миру
Последний, позарез, понадобился стул.

И все же волшебство утрачено. Без тени
Бескровный свет дневной все высветлил в душе.
Где вкрадчивая тьма, и грубые ступени,
И запах мокрых кож в подвальном этаже?

Теперь такую тьму не делают. Томленье
Свечи, светобоязнь — весь этот страх забыт.
Старик, меня бы ты увидел в отдаленье,
Когда б не блеск дневной и твой конъюнктивит.

Из рембрандтовской мглы я выудил монету,
Оплывшую свечу, покинутость, ларец.
Привычка к темноте устойчивей, чем к свету,
Для выгоревших глаз и страждущих сердец.

Теперь такую жизнь не делают! Умелец
Шлифует, и стучит, и красит, и скребет,
А все-таки лежит совсем не так младенец
В коляске, и старик иначе веки трет.

* * *

Почему одежды так темны и фантастичны?
Что случилось? Кто сошел с ума?
То библейский плащ, то шлем. И вовсе неприличны
Серьги при такой тоске в глазах или чалма!

Из какого сундука, уж не из этого ли, в тщетных
Обручах и украшеньях накладных?
Или все века, художник, относительно — и, бедных,
Нас то в тогу наряжают, то мы в кофтах шерстяных?

Не из той ли жаркой тьмы приводят за руку в накидке,
Жгучих розах, говорят: твоя жена.
Ненадежны наши жизни, нерасчетливы попытки
Задержаться: день подточен, ночь темна.

Лишь в глазах у нас все те же красноватые прожилки
Разветвляются; слезой заволочло.
Ждет автобус оступающих в лужи на развилке
С ношей горестной; ступают тяжело.

И в кафтане доблесть доблестью и болью боль останутся,
И в потертом темном пиджаке;
Навсегда простясь, обнять потянутся
И, повиснув, плачут на руке.

* * *

Камни кидают мальчишки философу в сад.
Он обращался в полицию — там лишь разводят руками.
Холодно. С Балтики рваные тучи летят
И притворяются над головой облаками.

Дом восьмикомнатный, в два этажа; на весь дом
Кашляет Лампе, слуга, серебро протирая
Тряпкой, а все потому, что не носом он дышит, а ртом
В этой пыли; ничему не научишь лентяя.

Флоксы белеют; не спустишься в собственный сад,
Чтобы вдохнуть их мучительно-сладостный запах.
Бог — это то, что не в силах пресечь камнепад,
В каплях блестит, в шелестенье живет и накрапах.

То есть его, говоря осмотрительно, нет
В онтологическом, самом существенном, смысле.
Бог — совершенство, но где совершенство? Предмет
Спора подмочен, и капли на листьях повисли.

Старому Лампе об этом не скажешь, бедняк
В боге нуждается, чистя то плащ, то накидку.
Бог — это то, что, наверное, выйдя во мрак
Наших дверей, возвращается утром в калитку.





* * *

Весь мир, весь этот мир, весь этот
И тот, которого, быть может, вовсе нет,
Весь мир, и комната, с диваном и портретом,
Весь мир и комната, и что это, Тибет,
Скорей по живописи, чем из книг известный?
Весь мир, и звездная сухая пыль во тьме,
Весь мир, и скошенный граненый склон отвесный
В ледовой, сохнушей, тяжелой бахrome,
Весь мир и комната, весь мир и даль земная,
О чем подумаю — то и мое, и все ж,
С горами, реками, всего не занимая
Меня, он чувствует: я полон им не сплошь,
Весь мир, и все-таки в моей душе пространство
Еще не занятое есть, и в зубьях скал,
И в складках волн, в меня и звездное убранство
Впихнув, и комнату, и ночь, о, как он мал!

* * *

Никем, никем я быть бы не хотел,
И менее всего — царем иль ханом,
Нестрог бы суд мой был, я б не сумел
Внушить озноб ни подданным, ни странам
Соседним; льстец бы втерся, как елей.
Воображаю жалкие детали,
Весь этот стыд — и правил бы моей
Землей, и только профиль на медали
Подслеповатый был бы, точно, мой.
Куда мне править? Выбрать между чаем
В гостях и кофе трудно мне... домой
Хочу! А то, в чем мы души не чаем,
Что нам всего дороже на земле,
За что не жаль и жизнь отдать, и славу,
Под яркой лампой ждет нас на столе,
И шелестит, и нам дано по праву.

И много ль нас, внимательных, как я,
Стихом сегодня, может быть, владеют,
И ночь идет, и нету забытья
Сильней, чем это... Звуки пламенеют.
Подделать, кроме, может быть, огня,
Огня, огня,— возможно все на свете.
Слух раскален... Ни слова за меня!
Я сам скажу, я сам за все в ответе.

* * *

А в Мойке, рядом с замком Инженерным,
Мы донную увидели траву...

Итак, река, как все земные реки,
Как Суйда или Оредеж, хотя
С прекраснейшим чудовищем навеки
Обручена, завися от дождя
Не больше, чем от поручней чугунных,
Опор гранитных, рослых фонарей.
И все-таки в ее подводных струнах
Натянутых есть что-то от полей,
Кустарника, лужаек, сенокоса.
Парадная, она вам не канал!
И склонна невзначай простоволосой,
Неприбранной вбежать в дворцовый зал,
Отдернуть штору, тенью бледнолицей
Мелькнуть в окне, пропеть, прошелестеть...
Так женщину, наверное, в царице
Кому-нибудь случалось разглядеть.

Любимая, что мы еще подметим?
В какой заглянем двор, в каком саду
Скамью найдем под липой, на две трети
Облитой солнцем, прячась в темноту,
Отбрасываемую нижним слоем
Густой листвы? Как сырость веселит,
Попахивающая перегноем
Культурной почвы, славы и обид —
Трехвекового честного служенья
Морскому ветру, музам и мечте
Среди невзгод, обратного теченья
И судорог, бегущих по воде!

И голову кладя мне на колени,
Как вещь, едва ли что-нибудь с душой
Имеющую общее, — мгновенье
Лежишь, быть может, донною травой
Себя в безвольно-вытянутой позе
Смиренно ощущая — ни тоски,
Ни горечи, — и горести относит,
И волосы, и холодит виски.

* * *

Путешественник видит в конце поездки,
Что устал и ему надоели виды.
Кипр как Кипр, все примерно равны отрезки,
Просто пена, и нет никакой Киприды.
Просто берег пологий, белесоватый,
А за ним в глубине проступают горы.
Путешественник видит полей заплаты,
Пятна зелени, складки земли и поры.

Путешественник видит, что знаменитых
Мест основа составлена из известных
Элементов: земли, скал, волной подмытых,
И двух-трех ненадежных речушек пресных,
Что касается местной толпы, и зданий,
И развалин, — он чувствует, что впитала
Память все это с верхом, — очарований
Для него на земле еще меньше стало.

Пожалеет его. Между тем прохладный
Поддувает с Невы ветерок залетный.
Ты стоишь в глубокой своей парадной,
Нишевидной, гулкой, гротоподобной,
И, застыв, на лепную похож затею,
Нерешенной какою-то занят мыслью,
И, как кипрский крестьянин, живешь своею
Непонятной туристу завидной жизнью.

* * *

Я в Грузии. Я никого не знаю.
Чужая речь. Обычай чужие.
Как будто жизнь моя загнулась с краю,

Как будто сплю — и вижу голубые
Холмы. Гуляет по двору сорока.
Когда б я знал, зачем, забыв гнездовье,
Ума искать и ездить так далеко,
Как певчая говаривала Софья.

Ах, видишь ли, мне нравится балкончик,
Такой балкончик длинный, деревянный.
Прости меня, что так ответ уклончив,
Как этот выступ улочки гортанной,
Не унывай. Ведь то, что с нами было,
Не веселей того, что с нами будет.
Ах, видишь ли, мне нравятся перила,
А все хотят, чтоб здания и люди.

Само собой, и здания, и люди!
Но погибать я буду — за балкончик
Я ухвачусь — и выскочу из жути,
И вытру пыль, и скомкаю платочек.
Меня любовь держала — обвалилась.
Всех тянет вниз, так не сдавайся ты хоть,
Ах, Грузия, ты в этой жизни — милость,
Пристройка к ней, прибежище и прихоть!

* * *

В горной Грузии, кажется, черных, как смоль, поросят
Видел, им надевают на шею чудной треугольник
Деревянный, затем, чтоб они в огород или сад
Не могли забрести,— поросенок бредет, как невольник.

Боже, как эта пыль на горячей земле хороша!
Как смешны и грубы деревенских хозяек уловки!
Жить и жить бы на свете, подробностями дорожа.
И еще ветерок веет с поля там, как из духовки.

И такие глаза у закованных этих бродяг,
И такой фантастической кажется тень на заборе
Треугольная,— жизнь представляется лучшим из благ,
Просто жизнь, просто тень, просто камни в цементном
растворе.

Почему бы, скажи, в небылицу не верить и миф,
Почему бы не мог двухголовый родиться теленок,
Если ветви раздвоенных гнутся орехов и слив
И так тонко мотив подбирает пищалка спросонок?

* * *

Кавказской в следующей жизни быть пчелой,
Жить в сладком домике под синюю скалой,
Там липы душистые, там глянцевые кроны.
Не надышался я тем воздухом, шальной
Не наслаждался я речной волной зеленой.

Она так вспенена, а воздух так душист!
И ходит, слушая веселый птичий свист,
Огромный пасечник в широкополой шляпе,
И сетка серая свисает, как батист.
Кавказской быть пчелой, все узелки ослабив.

Пускай жизнь прежняя забудется, сухим
Пленившись воздухом, летать путем слепым,
Вверясь запахам томительным, роскошным.
Пчелой кавказской быть, и только горький дым,
Когда окуривают пчел, повеет прошлым.

* * *

На узбекском базаре такая является мысль:
Не придется ли в будущей жизни родиться узбеком?
О, еще раз на сладкие эти ряды оглянись,
Улыбнись старику с воспаленным, слезящимся веком.

Потому что не видел голландцев, норвежцев, датчан,
И недаром тебе подарили вчера тибетейку.
Говори, но негромко: под камнем лежит Тамерлан,
Он удавку пришлет, и похожа удавка на змейку.

Голубой, бирюзовый, зеленый, как чай, изразец.
Про дорический ордер забудь, барельеф и скульптуру.
Скоро, скоро возьмут собирать тебя хлопок-сырец,
Запускать по три пальца в густую его шевелюру.

Из коробочки жесткой сухое торчит волокно,
Словно в белый бутон упакована теплая вата.
Желтоглазого мальчика встретил я возле кино,
Он на фильм итальянский хотел проскользнуть воровато.

Бледноватое что-то сквозило в его смуглоте.
На картину детей до шестнадцати лет не пускали.
Нас лепили из глины. Но разная глина везде.
В этой — стойкости больше, а в той — белизны и печали.



ПЯТАЯ СТИХИЯ



* * *

Л. Дубшану

Бессмертие — это когда за столом разговор
О ком-то заводят, и строчкой его дорожат,
И жалость лелеют, и жаркий шевелят позор,
И ложечкой чайной притушенный ад ворошат.

Из пепла вставай, перепачканный в саже, служи
Примером, все письма и все дневники раскрывай.
Так вот она, слава, земное бессмертье души,
Заставленный рюмками, скатертный, вышитый рай.

Не помнят, на сколько застегнут ты пуговиц был,
На пять из шести? Так расстегивай с дрожью все
шесть.

А ежели что-то с трудом кое-как позабыл,—
Напомнят: на то документы архивные есть.

Как бабочка, ты на приветный огонь залетел.
Синеют ли губы на страшном нестрашном суде?
Затем ли писал по утрам и того ли хотел?
Не лучше ли тем, кто в ночной растворен темноте?

* * *

И глянцеви́тый верх манящей нас пролетки...

Анненский

Ты здесь, поблизости... Скажи, когда распался
Круг заколдованный... когда кабриолет
Свернул на просеку и в роще затерялся...
Посмертной славою доволен ли, согрет?

Когда фиакр с шоссе, когда с моста карета
В аллею черную, кренясь, без колеи,
Под зыбким дождиком... иль в туче нет просвета?
Мгла не поделена на складки и слои?

Певцы успешные... попробуй перечисли
Их всех, набившихся под общий переплет...
Зато мелодия, чем ей трудней при жизни
Творца, тем явственней она потом поет.

Ты здесь, поблизости... Скажи, когда, с дороги
Свернув, по рытвинам поплелся экипаж...
Все парк мне видится в дождливой поволоке,
Все финский плачущий мерещится пейзаж.

Когда ландо в кусты, когда в сирень пролетка...
От современников туманом гений скрыт.
Зато бездарности себя являют четко,
Весь шрифт идет на них, вся пленка, весь лимит.

Как зубчик в выемку в зубчатой передаче,
Как пальцы с пальцами в волненьи сплетены,
Так ты, невидимый, верней, так я, незрячий,
Сцепленье чувствую, так явь заходит в сны.

* * *

Мне весело, что Бакст, Нижинский, Бенуа
Могли себя найти на прустовской странице
Средь вымышленных лиц, где сложная канва
Еще одной петлей пленяет — и смутиться
Той славы и молвы, что дали им на вход
В запутанный роман прижизненное право,
Как если б о себе подслушать мнение вод
И трав, расчесанных налево и направо.

Представьте: кто-нибудь из них сидел, курил,
Читал четвертый том и думал отложить — и
Как если б вдруг о нем в саду заговорил
Боярышник в цвету иль в туче — небожитель.
О музыка, звучи! Танцовщик, раскружи
Свой вылепленный торс, о живопись, не гасни!
Как весело снуют парижские стрижи!
Что путаней судьбы, что смерти безопасней?

* * *

В этом мире плотном, волокнистом,
Выхлопными газами дышать

Научившем, жестком, каменистом,—
Где альбом и школьная тетрадь? —
Нумизматом быть, филателистом!
Над почтовой бабочкой дрожать!

В этом веке, щупальцы стальные
Запустившем в мысли и дела,
Медные лелеять, проливные,
Золотые, смуглые тела.
Нумизматика, филателия!
Примостившись с краешка стола.

В этой смуте, в реве этом грозном,
От сырых забот отгородясь,
Про метель забыв в окне морозном,
Лишь узор разглядывать и вязь...
Я бы спасся, может быть, но поздно!
Век дохнул — и страсть не принялась.

* * *

Вот статуя в бронзе, отлитая по восковой
Модели, которой прообразом гипсовый слепок
Служил — с беломраморной, римской, отрытой в одной
Из вилл рядом с Тиволи; долго она под землей
Лежала, и сон ее был безмятежен и крепок.
А может быть, снился ей эллинский оригинал,
До нас не дошедший... Мы копию с копии сняли.
О ряд превращений! О бронзовый идол! Металл
Твой зелен и пасмурен. Я, вспоминая, устал,
А ты? Еще помнишь о веке другом, матерьяле?

Ты все еще помнишь... А я, вспоминая, устал.
Мне видится детство, трамвай на Большом, инвалиды,
И в голосе диктора помню особый металл,
И помню, кем был я, и явственно слишком — кем стал,
Все счастье, все горе, весь стыд, всю любовь, все обиды.
Забывать бы хоть что-нибудь! Я ведь не прежний, не тот,
К тому отношения вовсе уже не имею.
О сколько слоев на мне, сколько эпох — и берет
Судьба меня в руки и снова скоблит и скребет,
И плавит, и лепит, и даже чуть-чуть бронзовею.

* * *

Поэзия — явление иной,
Прекрасной жизни где-то по соседству
С привычной нам, земной.
Присмотримся же к призрачному средству
Попасть туда, попробуем прочесть
Стихотворенье с тем расчетом,
Чтобы почувствовать: и правда, что-то есть
За тем трехсложником, за этим поворотом.

Вот рай, пропитанный звучаньем и тоской,
Не рай, так подступы к нему, периферия
Той дивной местности, той почвы колдовской,
Где сердцу пятая откроется стихия.
Там дуб поет.
Там море с пеною, а кажется, что с пеньем
Крадется к берегу; там жизнь, как звук, растет,
А смерть отогнана, с глухим поползновеньем.

* * *

В полуплаще, одна из аонид,
Иль это платье так на ней сидит?
В полуплюще, и лавр по ней змеится.
«Я чистая условность,— говорит,—
И нет меня»,— и на диван садится.

Ей нравится, во-первых, телефон:
Не позвонить ли, думает, подружке?
И вид в окне, и Смольнинский район,
И тополей кипящие верхушки.

Каким я древним делом занят! Что ж
Все вслушиваюсь, как бы поновее
Сказать о том, как этот мир хорош?
И плох, и чужд, и нет его роднее!

А дева к уху трубку поднесла
И диск вращает пальчиком отбитым.
Верти, верти. Не меньше в мире зла,
Чем было в нем, когда в него внесла,
Ты дивный плач по храбрым и убитым.

Но лгать и впрямь нельзя, и кое-как
Сказать нельзя — на том конце цепочки
Нас не простят укутанный во мрак
Гомер, Алкей, Катулл, Гораций Флакк,
Расслышать нас встающий на носочки.

* * *

«Есть музыка в прибрежном тростнике».
Латинский стих я подержал в руке.
Прижать его к губам, подуть — польется
За звуком звук и в сердце отзовется.
Мы музыку из дудки достаем,
А думаем, что это мы поем...
А все же в песне дорого, Авзоний,
Что и не снилось мокрому песку,
Речной волне, сырому тростнику,—
Какой-то звук щемящий, посторонний

ПУЛКОВО

Подозревается звезда,
Что у нее есть спутник темный.
Срывает в Пулкове с куста
За каплей каплю ветр бездомный
(Видна меж веток тень гнезда.)

Фотографированье звезд,
Обмеры их и обработка...
Земля, земля, контрольный пост
Вселенной, видимой нечетко!
(Торчит наружу птичий хвост.)

Мерцал серебряный браслет,
Сверкали капли на отлете...
Через десяток светолет
За фотографией зайдете!
(Пух реет в прутьев переплете.)

Так вот где Греция! Сметен
Наивный мир ее устоев,
Но в небе тесно от имен
Богов, кентавров и героев.
(Увы, недолог птичий сон.)

(На два часа дано уснуть.)
Напоминает Млечный Путь
Рентгено снимок: та же дымка
И тьма межреберная... Грудь
Прижал к экрану Невидимка.

Он болен жизнью. Комаров
Не счесть, и жалят, настигая.
Мы на окраине миров,
Вот почему печаль такая!
(Недолог сон, непрочен кров.)

Любовь моя, беду терпя,
Душа свеченье излучает.
Материя сама себя
Всю ночь прилежно изучает.
(Жилье колышет и качает.)

(О ночничок на пять свечей!)
Земля в сиянии лучей,
Кусты с их яркими слезами.
Не прилетайте к нам! Ничьей
Не надо жалости. Мы сами.

Вспухают кроны, дышит грунт
И горизонт круглится плавный.
Земля, земля, контрольный пункт
Добра и зла, борьбы неравной!
(Когда б не птичий контрапункт...)

Среди жасминовых кустов
Меня по Пулкову водили.
Астрономических трудов
Невероятны будни были.
(Ты кто, из пеночек, дроздов?)

(Твой тихий вскрик похож на хруст.)
Когда б не белый этот куст,
Не белый куст за бледной мглою,
Когда б не горечь этих чувств,
Когда б не жизнь моя с тобою...



ДНЕВНЫЕ СНЫ



* * *

Горячая зима! Пахучая! Живая!
Слепит густым снежком, колючим, как в лесу,
Притихший Летний сад и площадь засыпая,
Мильоны знойных звезд лелея на весу.

Как долго мы ее боялись, избегали,
Как гостя из Уфы, хотели б отменить,
А гость блестящ и щедр, и так, как он, едва ли
Нас кто-нибудь еще сумеет ободрить.

Теперь бредем вдвоем, а третья — с нами рядом
То змейкой прошуршит, то вдруг, как махаон,
Расшитым рукавом, распахнутым халатом
Махнет у самых глаз,— волшебный, чудный сон!

Вот видишь, не страшны снега, в их цельнокройных
Одеждах, может быть, все страхи таковы!
От лучших летних дней есть что-то, самых знойных,
В морозных облаках январской синевы.

Запомни этот день, на всякий горький случай.
Так зиму не любить! Так радоваться ей!
Пищащий снег, живой, бормочущий, скрипучий!
Не бойся ничего: нет смерти, хоть убей.

* * *

Наш северный модерн, наш серый, моложавый,
Ампиру не в пример, обойден громкой славой
И, более того, едва не уличен
В безвкусице, меж тем как, сумрачно-шершавый,
Таинствен, многолик и неподделен он.

Вот человеческий стиль, для жизни создан частной,
Чтобы автомобиль во двор дугообразный

Въезжал, а там цвели сирень и барбарис.
Нарядных окон ряд,— прозрачный стиль,
глазастый!
Никто не виноват, что тучей век навис.

Та музыка сошла, поэзия завяла.
Не то чтоб ремесла,— тепла в них было мало,
Но камень устоял, песчаник и гранит.
И каменной сове всё видно с пьедестала:
И нас переживет, и век пересидит.

Спасибо за цветы на лестничных перилах!
Гирлянды и жгуты чугунные за милых
Наставников сойти в младенчестве смогли,
Воспитывая глаз, и всё, что было в силах,
Всё делали для нас, в ущербе и пыли.

* * *

Каморка лифта тащится, как бы везет в гору,
Скрипя; в сравненьи с теми, кто живет низко,
Я — горец; стадо коз мне завести впору,
Пасти над краем пропасти их, не боясь риска.

Когда Катулл во Фригию попал в свите
Наместника, он видеть мог пейзаж вроде
Того, что мы в окошечко с тобой видим.
Скалистый мрачный срез; очнись: сейчас сходим.

Французский ключ вставляется в замок просто.
Но знаешь, иногда мне жизнь моя странной
И непривычной кажется: в ее гнезда
И щели не попасть боюсь, как тот пьяный.

Жизнь тесная, крутая, но другой — нету.
Какая есть, такую и любить будем.
Откроем дверь, зажмуримся. Любовь к свету,
Должно быть, в прежней жизни внушена людям.

Не знаю, кто печалится, а я — весел.
О, лишь бы за окном синел родной город!
Душа намного старше этих стен, кресел,
Комода — века два ему, он так молод!

* * *

Театр, театр! Как скучно мне любить
Тебя. Любимей не было игрушки
У поколений прежних. Может быть,
Как на письме крючки и завитушки,
Ты устарел, как плошки и финифть.

Как я неправ! Но душный этот зал
Страшит меня, и слабый привкус пыли.
Поэт, с тобой прощаясь, горевал,
Ночное солнце в стужу хоронили.
Январский ветер хору подвывал.

Есть свой резон у трудных наших дней.
Притворство, кто теперь тебя оценит?
Не знаю, где актерство тяжелей,
На сцене, в жизни? Может быть, на сцене.
Трещит театр, пристанище теней!

Трехъярусный, сегодня не понять,
Трагический, скрипучий пережиток!
Упадок. Отмирания печать.
И тысячи восторженных попыток
Очнуться и понравиться опять.

И нравится. И радужным крылом
Топорщится, а все ж ладонь в кармане
Жмет номерок, а рядом, за углом,
Мелькает жизнь без грима на экране
С асфальтом, тенью, трещиной на нем.

* * *

В тот час, как известно, когда император встает
Из гроба, — подвыпивший гость начинает прощаться,
И медлит, и мешкает, — скал и взъерошенных вод
Не видит, ни туч, что над вздыбленным островом
мчатся.

И пробует снова погасший окурочек разжечь,
И тянется к рюмке — вот в чем преимущество
частных
Людей: ни к чему для потомства выковывать речь,

Сомнительный повод для жестов придумывать
властных.

А город за шторой до самой последней знаком
Сходящей под воду зализанной, скользкой ступени.
Кто всех по местам нас расставит, разметит мелком,
Поставит оценки, подвинет великие тени?

Да здравствуют чашки на круглом, как солнце, столе!
Багровое, в бездну срывается так театрально.
Иди уж. Все сплетни остыли, все шутки — в чехле.
Жить чудно, накладно, убыточно, дивно, печально.

ПАВЛОВСК

В тех залах статуи стоят, как облака.
Как в день безоблачный на них смотреть приятно!
Я шлю привет издалека
Им, расплывающимся в глубине, как пятна.

Парите, каменные! Лучник-Аполлон
И простодушная Венера,
Небезупречная... Мне снится легкий сон:
Гардина скользкая и пышная портьера.

Кто брел рассеянно от одного к другой,
Тот вспомнил, может быть, свои в горах прогулки,
Когда он облако погладить мог рукой,
Как эту статую в дворцовом закоулке.

У бледной девочки, с тобой бродившей здесь,
У этой женщины, на девочку похожей,
Такая ж нежная проглядывает спесь
В словах обдуманных и легкости пригожей.

Прохожий скажет мне, толкнув плечом:
«Проснись!»,

Насупясь гневно и набычась,
Но боги древности в России прижились,
Как гидротехника или нефтедобыча.

Все жизнью жесткою живем, как жуть, простой,
Без завитков и украшений.

Боюсь предвзятости неутомимой той
И всех подпочвенных ее предубеждений.

На холмах Павловска лежит вечерний свет,
Блестит Славянка перед нами.
Искусству, видите ли, тоже сотни лет,
Не только берегу, поросшему кустами.

И тень мне видится, бродившая впотьмах
По этим зарослям и склонам,
В забытых призрачных сказавшая стихах
Про «пышный дом царей на скате позлащенном».

Мне нужен стол, и стул, и полка книг в углу.
Еще, наверное, прожить без телефона
Мне трудно было бы... А этот блеск и мглу
Держу в уме я вроде фона

Необязательного, раза два в году,
Как сон, всплывающего... Но могу потрогать,
Пошарив в ящике, зимой, попав в беду,
Листок, мне памятный, или заветный желудь.

* * *

Сирень персидская стоит, как облака,
На поле Марсовом... Из черного мешка
Я жребий вытянул, явясь на свет, счастливый:
Сирень персидскую и ветер прихотливый.

Какая пышная лиловая чалма!
Взгляд поднимается как бы на холм с холма.
Под ней я сживал, она благоволила
Ко мне — и выдержать мне это трудно было.

На лоб съезжала мне, топорщилась у глаз,
Нет и пяти минут, а кажется, что час
Прошел... туманилась и плавилась с усердьем.
Что делать с вечностью, как справиться
с бессмертьем?

Я ерзал, нервничал... в количестве таком,
С такою щедростью... вставал, бочком, бочком
Шел прочь, оглядываясь... пенная, сквозная,
На две недели к нам ошибкой забредая.

ТОПОЛЬ

О, душераздирающая жизнь, прекрасней нету!
Расчесан яркий фон, как будто у Ван Гога.
И тополь на ветру учтен и вписан в смету,
Опавшую в руке и смятую немного.

Как будто не стихи, а перечень составил
За столько жестких лет — признаний и волнений,
Всех этих бедных чувств, избавленных от правил
Во имя гибких крон и горьких исключений.

Кто понял что-нибудь? Не я. Живи хоть вечность,
Все так же будешь ждать и в людях ошибаться.
У тополя в крови — любовь и человечность,
И к дому будет он до смерти прижиматься.

И мне, и мне милы покрашенные зданья.
Народу верен он и всем ему обязан,
И populus — его научное название,
А в нашем языке он даже рифмой связан

С заботой городской. То пасмурно, то тихо,
То буйно шелестит, в стихах листву взбивая.
У доктора Гаше в саду неразбериха
Такая же, и дрожь, и зелень проливная.

* * *

Неужели увижу сегодня, не может быть,
Эту девушку на полотне золотом, заезжем,
Неужели дотянется к нам голубая нить,
Драгоценная, в пальцах повертим ее, подержим?

Неужели в глаза мои хлынет жемчужный свет,
Напоенный голландской, приморской и мгlistой,
влагой?

Баснословная скатерть и в кнопочках табурет;
Или кресло? С почтовой в руках замерев бумагой.

Ну скорей же, звони же из редакционных недр.
Где мы встретимся, может быть, прямо у входа в зданье?
Кто так ласков и добр, снисходителен так и щедр,
Дорогое такое глазам достает питанье?

Я о мастере дельфтском недаром читал статьи!
Кто-то умер в романе, любясь кусочком желтым
Живописной стены его уличной, в забыти
Себя чувствуя, может быть, к ней навсегда припертым.

Жить в семнадцатом веке, не подозревать о том,
Как изменится жизнь через два или три столетия,
И прельщать так и радовать этим цветным стеклом,
Этим воздухом теплым, как жимолостные соцветья...

* * *

Пусть день наш жестк и зимы белокуры,
Но ночь нежна; пусть в иней двор одет,
Но то, что молвил первый гость Лауры
Насчет любви и музыки, нет-нет

И вспомнится... И жалобы скрипичной
Так ранит сердце возглас за стеной
Средь зимней тьмы, фонарно-фантастичной,
С ее фанерной стужей золотой.

«Постой... при мертвом?» Тополи и клены
Стоят в саду, как умершие... «Что ж
Нам делать с ним?» Забитые балконы
Заметены... на снег не отнесешь.

О, этот зной! Его б не утолила
И музыка... Лишь нежная рука!
И разве нас с тобой остановила
Смерть чья-нибудь и белые снега?

РЕВНОСТЬ

Ночь белая, со спущенным чулком,
Безумная, не знает, что бормочет,
Листок перебирает за листком
На тополе, спросить о чем-то хочет.

Записывала б, клейкая, в блокнот!
Ночь белая на день кивает черный,
Наверное, декабрьский... Помню лед
Искромсанный, плывущий, беспризорный.

Зеленоватый в желтой полынье.
Кусок стекла, разбитого в парадной.
Яд в ухо влить — сказать, наедине
Оставшись, то, что впитывают с жадной

Угрюмостью... Что ревности страшней?
Терзаются, заткнуть не в силах уши.
Ночь белая — и тот, кто всех черней,
Всех доблестней, всех вспылчивей и хуже.

Ночь белая... Вот что свести с ума
Одно могло. Всё остальное — мелочь,
Пустяк. Ты знаешь это и сама.
И что при слове «ад» в виду имелось.

* * *

Кто едет в купе и глядит на метель,
Что по полю рыщет и рвется по следу,
Тот счастлив особенно тем, что постель
Под боком, и думает: странно, я еду
В тепле и уюте сквозь эти поля,
А ветер горюет и тащится следом;
И детское что-то, заснуть не веля,
Смущает его в удовольствии этом.

Как маленький, он погружает в пургу
Себя, и глядит, отстранясь удивленно,
На поезд, и все представляет в снегу
Покатую, черную крышу вагона,
И чем в представленье его холодней
Она и покатаей, тем жить веселее.
О, спать бы и спать среди снежных полей,
Заломленный кустик во мраке жалея.

Наверное, где-нибудь в теплых краях
Подобное чувство ни взрослым, ни детям
Неведомо; нас же пленяет впотьмах
Причастность к пространствам заснеженным
ЭТИМ.

Как холоден воздух, еще оттого,
Что в этом просторе, взметенном и пенном,
С Карениной мы наглотались его,
С Петрушей Гриневым и в детстве военном.

ПЕРЕД ВОЙНОЙ. ВОСПОМИНАНИЕ

За кулисами сидят, открыта дверь из артистической,
В суконных гимнастерках, пиджаках.
Это — шефы. Это — сон такой, наверное, провидческий.
Актеры с ними, пиво на паях.

Сцена чуть видна отсюда из-за штор, фанерных ящиков,
Невероятных складок и завес.
Там, на сцене, флорентийская чума, актеры в плащиках,
А здесь — пивной, житейский интерес.

Там, на сцене, клочья дыма, пир горой и декламация,
Оттуда, отпылав и умерев,
Прибегают за кулисы, где горторг и авиация
Средь юношей сидят чумных и дев.

Друг мой, что это? Не жгущейся бывает ли история?
Совпавшему с минутой роковой,
Мне с младенчества близка в дыму густом фантазмагория
И, гибельная, кажется родной.

Посмотри, сейчас колпак бумажный снимет эта потная,
В бубенчиках, и скажет: «Духота!»
Это сон такой мне снится. И не тень ли мимолетная
Легла на них, грядущая беда?

«Почему, Иван Лукьяныч, я актриса, а не летчица?»
Мочальная чуть держится коса.
Дезинфекционный дым со сцены понизу волочится,
Окутывает жизнь и ест глаза.

Стол бутылками заставлен. О, какое освещение
Багровое! Подглядывать нельзя.
Всё кончается: и сон, и фильм, и флирт, и угощение,
И жизнь, и жизнь почти что вышла вся.

* * *

Тысячелетие тому назад... заря
Средневековая... Оттон Второй и Третий...
Я всех их путаю, по правде говоря.

С постели поднятым так рано на рассвете
Глаза, наверное, еще туманил сон,
Пускались по морю и, видимо, зевали.
Но строки строились уже челнам вдогон,
И Красным Солнышком Владимира назвали.

Тысячелетие тому назад... словарь
Мне нужен... кажется, так просто ошибиться.
На башню узкую уже влезал звонарь,
Но слушать проповедь еще лесная птица
Не мчалась из лесу: Франциск не родился.
Гомер с Овидием одной резинкой стерты.
И мы, над бездною такую же вися
С нолями круглыми, мы тоже будем тверды.

Нам пригласительный билет на пир вручен,
Нас просит облако дожить до юбилея,
Но время позднее, и дождь, и клонит в сон,
Мы не останемся... когда-нибудь, жалея
Нас, тоже кто-нибудь попробует назвать
Двух-трех по имени... собьется, не уверен.
Стать тенью, отсветом, в траве — песчинкой стать.
На пляже холодно, и самый след затерян.

ЕЛЬ

За то, что ель зимой зеленой быть умеет,
За то, что все мертвы — она одна жива
И в зимнем холоде, когда душа немеет,
Свои боярские вздымает рукава,—
Так дышат падуги на сцене и кулисы,
В театре, помните, свой бродит ветерок,—
Вечнозеленая, как лавр и кипарисы,
Но тех, изнеженных, сиять поставил бог
У моря синего на белом солнцепеке,
За то, что ель зимой так чудно зелена,
Люблю понурую,— опережая сроки,
Твердит, что вечная нам предстоит весна.
Твердит, что вечная... Рукою ветвь заденешь,
Как будто частую погладишь бахрому.
Люблю колючую, ей как-то больше веришь:
Ведь если колется, то лгать ей ни к чему?

* * *

Но ты не холоден, увы, и не горяч.
О если б холоден ты был или горяч!
Не Иоанна ли спросить нам Богослова?
Пылал бы углем я? Трубил, как твой трубач,
Вполуха слушая недужный стон и плач?
Как под соломой лед, синел бы я сурово?

Но я не холоден. Мне твой чертополох
Мигнет с обочины лилово-синим оком —
И лед растаял мой, и влажный гнев подсох,
И гневный жар остыл — в сомненьи одиноком, —
Хватает окриков, быть может, нужен вздох? —
Стою, задумавшись: всех жаль мне ненароком.
А мир твой горестный, хорош он или плох?
Быть человеком в нем труднее, чем пророком.

* * *

«Шуми, шуми, послушное ветрило...»

Пушкин

Окученный картофель в белой пене
Своих цветов, с узорною ботвой,
Гряды к гряде, как будто по ступеням
Шагающий, песок и перегной
Являющий с изнанки розоватой,
Разрыхленной, картофель нам взамен
Морских просторов дан — старик лопатой
Средь волн гребет, забрызган до колен.

Картофель взбит, картофель опадает
И вновь под ветром поднят на дыбы,
И скользкий червь, как змей морской, петляет
В его волнах; как весело с тропы,
Идущей близ колеблемой пучины,
Смахнуть ладонью бабочку, к цветку
Прилипшую; грубее мешковины
Ботва в бреду полдневном и соку.

Во-первых, запах, сладкий и тяжелый;
И зелень гряд волнистых, во-вторых.
Лети, душа, кораблик невеселый,

По гребням этих полчищ завитых
С узорной их, кустистой, узловатой,
Однообразно-северной тоской,
Плечи, плечи и, сумрачно-крылатой,
Как над равниной вспыхивай морской.

Шуми, шуми... в туманном ореоле
Увижу тень под мачтой на ветру.
С той стороны картофельное поле
Объедет трактор; стоя на юру,
Я вспомню все, и то, что сердцу мило,
И ничего вернуть не захочу;
И пылью даль, как брызгами, затмило,
И чаек нет, зато машу грачу.

* * *

Как мы в уме своем уверены,
Что вслед за ласточкой с балкона
Не устремимся, злонамеренны,
Безвольно, страстно, иступленно,
Нарочно, нехотя, рассеянно,
Полуосознанно, случайно...
Кем нам уверенность навеяна
В себе, извечна, изначально?

Что отделяет от безумия
Ум, кроме поручней непрочных?
Без них не выдержит и мумия
Соседство ласточек проточных:
За тенью с яркой спинкой белою
Шагнул бы, недоумевая,
С безумной мыслью — что я делаю? —
Последний, сладкий страх глотая.

* * *

Бык-минотавр, через скакалку прыгающий,
Как девочка, резвясь, ему велела,
И вал морской, вскипающий и всхлипывающий
У самых ног, срываясь то и дело.

Во всех стихах стократно отраженное,
Обычной жизнью названное чудо —

Чудовище и есть замороженное,
Бог весть куда бредущее, откуда?

Тяжелый вал, ревуший и вскипающий,
Дремучий бык, на цыпочки встающий.
Что может знать ребенок, укрощающий
Его, смеясь вдоль берега идуший?

Но учит он скакать многопудовую
Мечту, тоску звериную, с прилипшими
К ней листьями, вражду, на все готовую,—
Сравняться даже с волнами притихшими.

ГЛАДИОЛУСЫ

Александр Штейнбергу

Гладиолусы словно из воска.
Что-то грубое в этой бестрепетной пышности есть,—
Слишком глянца в них много и лоска.
Семь на стебле цветков и еще не раскрывшихся шесть.

Как собака, на лапах стоящая задних, свисают
Уши, высунут влажный, подрагивающий язык.
Осы в дом залетают,
Но ни алый, ни розовый не соблазняет их блик.

Сам бы я никогда не купил — принесли, подарили.
Представляю торговку, под марлей державшую их,
Укрывая от пыли
И дорожных соседей: подвыпил и пялится, псих!

Пригляжусь к лепестку: розоват, словно челюсть
вставная.

Я тут не виноват —
Это он так изогнут, и белая складка такая.
Все равно отвести невозможно придиричивый взгляд.

Вроде женщины влюбчивой, с бурными жестами, шалой.
Если б заговорили, был голос у них с хрипотцой.
Нам бы что-нибудь в гроздях, потоньше, полегче,
пожалуй;

С розоватой пыльцой.

Все чрезмерное трудно любить, нарочитое, слишком
Очевидное, вот и Матисс их писал неспроста,
Этим копьям и вспышкам
Отдавая поверхность большого, как знамя, холста.

То купальным халатом,
То Петрушкой прикинутся пестрых десятых годов.
Даже медом не пахнут и садом.
Не люблю, не могу не любить, отвлечен, бестолков,

Озадачен, рассеян, раздерган и, кажется, с толку
Сбит сверканьем, свеченьем, подмигиваньем, — со стола
Переставлю на полку.
Жизнь, ты кажешься чудом, каким никогда не была!

* * *

Без этой краски, приливающей
К лицу, без судороги подкожной
Кому нужна душа, без тающей
Улыбки нежной, осторожной?
Мысль, только мысль? Но мысль — и та еще,
Как знать, представится ль возможной?

Ей, мысли, нужно раздражение,
Телесный нужен отголосок.
Она мертва без отношения,
Без жил, прожилок и желёзок.
Ей тоже важно наваждение
Сосновых смол и свежих досок.

Сердцебиение, дыхание,
Мысль дремлет без их учашенья.
Среди привычного питания
Она так любит угощенье
Объемом, запах, осязание,
Сучка слепое утолщенье.

О, сшибка чувств и мыслей суতোлка —
Над смертью легкий мост висячий!
Древесный среди земного сумрака
Глядит во тьму глазок незрячий.
Душа есть смех, есть плач, есть судорога,
Есть вздох, и нет ее иначе.

Человек свою жизнь вспоминает под старость, как сон.
Постепенно со всеми дарами прощается он.
Жаль ему и любимых грехов, окаянных страстей.
Словно в руки чужие он отдал беспутных детей.

Непутевых, заблудших, несчастных детей дорогих.
Сколько выстрадал он, сколько он натерпелся от них!
Нет, недаром расстался и благословенья лишил!
У дверей потоптался, у черных чугунных перил.

Отвращенье и боль, отвращенье и жалость, и стыд.
Что ж мечтой о бессмертье он так по ночам дорожит?
Как прогулкою в Риме, все ближе клонясь к забвению.
Уж не встречи ли с ними он ждет в незакатном краю?

МИКЕЛАНДЖЕЛО

Ватикана создатель всех лучше сказал: «Пустяки,
Если жизнь нам так нравится, смерть нам понравится
тоже,
Как изделие того же ваятеля»... Ветер с реки
Залетает, и воздух покрылся гусиною кожей.
Растрепались кусты... Я представил, что нас провели
В мастерскую, где дивную мы увидали скульптуру.
Но не хуже и та, что стоит под брезентом вдали
И еще не готова... Апрельского утра фактуру,
Блеск его и зернистость нам, может быть, дали затем,
Чтобы мастеру мы и во всем остальном доверяли.
Эта стать, эта мощь, этот низко надвинутый шлем...
Ах, наверное, будет не хуже в конце, чем в начале.

БЕЛЫЕ СТИХИ

Не я поклонник белого стиха.
Поэзия нуждается в преградах,
Препятствиях, барьерах — превзойти
Наш замысел ей помогает рифма:
Прыжок — и мы кусты перемахнули
И пролетели через ров с водой.
Что губит белый стих? Один и тот же
Мотивчик: вспоминается то «Вновь

Я посетил...», то «Моцарт и Сальери».
Открытие берется напрокат,
Как рюмочки иль свадебный сервиз,
Весь в трещинах, перебивав во многих
Неловких и трясущихся руках.
И если то, что я сейчас пишу,
Читается с трудом, то по причине,
Изложенной здесь, уверяю вас.
Хотя, конечно, два-три виртуоза
Сумели так разнообразить этот
Узор своим необщим речевым
Особенным изгибом, что не вспомнить
Никак нельзя такое, например:
«Раз вы уехали, казалось нужным
Мне жить, как подобает жить в разлуке:
Немного скучно и гигиенично».
А все-таки и здесь повествованье
Живет за счет души и волшебства.
В туманный день лицейской годовщины
Я приглашен был школой-интернатом
На выступленье в садике лицейском
У памятника. Школьники читали
Стихи, перевирая их. Затем
Учительница: «Представляю слово,—
Сказала,— ленинградскому поэту
(Так и сказала громко: «представляю»).
Он нам своих два-три стихотворенья
Прочтет», — что я и сделал, не смутясь.
По-видимому, школьники ни слова
Не поняли. Но бронзовый поэт,
Казалось, слушал. Так и быть должно,
Тем более, что все стихи всегда —
Про что-то непонятное, не станет
Нормальный человек писать стихи.
«Друзья мои, прекрасен наш союз!»—
Еще понятно; всё, что дальше, — дико:
«Он как душа неразделим и вечен».
И как это? «Под сенью дружных муз»?
Когда б не Александр Сергеич, в ссылке
Томившийся, погибший на дуэли,
Перечивший царю и Бенкендорфу,
Никто бы нас не звал на торжества...
Подписанную затолкав путевку
В карман нагрудный, я побрел к вокзалу
В задумчивости, разговор ведя

Таинственный... не то кивок в ответ,
Не то пожатье бронзовой десницы...
И только тут увидел лип и кленов
Сплошную, как в больнице, наготу.
И только тут подобие волненья
Почувствовал или намек на смысл.
Стоял на тихой улочке, на самом
Ее углу — прелестный, с мезонином,
Старинный домик, явно подновленный,
Ухоженный, с доской мемориальной.
Так вот он, дом Китаева! Так вот
Где парочка счастливая, но втайне
На гибель обреченная, жила
В холерном 31-ом... Я вошел,
Купил билет... Безлюдье и сверканье.
Как царский камердинер был бы этим
Роскошеством приятно удивлен!
Дом никогда таким нарядным не был.
Но, впрочем, мебель сборная, картинки
На стенах, текст, составленный тактично,—
Меня ничто, ничто не задевало,
Вот только полукруглая одна
Верандочка, стеклянная игрушка,
Построенная для игры в лото
И чтенья вслух, скрипучая, сквозная,
Непрочная, верандочка, залог
Другой какой-то, невозможной жизни,
Кусочек рая, выступ, выход — как
Его искал потом он,— неприметный,
Такой простой, засыпанный сухими
Сережками, стручками,— не нашел!

* * *

«...Но в сей толпе суровой
Один меня влечет всех больше...»

Пушкин

Из ратных двух вождей Барклай выбрал он.
Нет ветру и орлу, поэту — есть закон,
И тайна — вот она, как сумраком ни скрыта:
Томит его печаль, влечет его обида,
Подавленный ему во мраке слышен стон.

В беззвучной этой тьме бесслезной, жар и сушь,
Не пишут дневников, не жаждут переписки,
Лишь в точку, запершись, глядят одну и ту ж.
В сражении — велик, а дома — неуклюж,
На кафедре — высок, а дома — мучит близких.

И первыми стихи расскажут, как герой
Ушел с арены в ночь, уволен был с работы.
По крайней мере так мне хочется порой
Считать, хотя затем ли дан им чудный строй,
И пристальные сны, и призрачные льготы?

Путь тот, кто выше всех, в стерильной чистоте
Вершит свой строгий суд, без спешки и волнения.
Но здесь, где ищут плащ укрыться в темноте,
Где в споре верх берет несправедное мнение,
Кто, тайный, жарче их утешит нас в беде?

* * *

Телевизор, тебя я не стану, не стану ругать.
Ты как дочь старику, у которого дочери нету,
Напеваешь ему, ты разбойным подростком опять
Вносишь в комнату рев мотоцикла и ставишь кассету.

Лишь счастливый тебя не включает. Сырой говорок
Увлажняет, как дождь, безутешную сушь и удушье.
Заслужил ли, не знаю, какой-нибудь греческий бог
Храм в Афинах, как ты — благодарность?

Что флейта пастушья

Или песни рапсода в сравненьи с заботой твоей
Всенародной, цветной, сразу на три канала разлитой?
Машет дива рукой, дует ветер с колхозных полей,
Африканский посол из ролс-ройса выходит со свитой.

Вот какие дела! Как же жить на земле хорошо!
Велогонка, кренясь, разноцветная, жмет на педали,
Ветерок поддувает, и трасса свернулась ужом,
Как пузырчат асфальт! — а пока не споткнулись, не знали.

Даже если физический мелом выводят закон,
Здравствуй, здравствуй, мигай, голубое не гасни свеченье.
Ничего, что скучища и клонит глядящего в сон,
Все равно на твое он оставлен во тьме попеченье.

Все гудел этот шмель, все висел у земли на краю,
Улетать не хотел, рыжеватый, ко мне прицепился,
Как полковник на пляже, всю жизнь рассказавший свою
За двенадцать минут; впрочем, я бы и в три уложился.

Немигающий зной и волны жутковатый оскал.
При безветрии полном такие прыжки и накаты!
Он в писательский дом по горячей путевке попал
И скучал в нем, и шмель к простыне прилипал полосатой.

О Москве. О жене. Почему-то еще Иссык-Куль
Раза три вспоминал, как бинокль потерял на турбазе.
Захоти о себе рассказать я, не знаю, смогу ль,
Никогда не умел, закруглялся на первой же фразе.

Ну, лети, и пыльцы на руке моей, кажется, нет.
Одиночество в райских приморских краях нестерпимо.
Два-три горьких признанья да несколько точных замет —
Вот и все, да струя голубого табачного дыма.

Биография, что это? Яркого моря лоскут³
Заблудившийся шмель? Или памяти старой запасы?
Что сказать мне ему? Потерпи, не печалься, вернут,
Пыль стерев рукавом, твой военный бинокль синеглазый.

Слова, слова, слова... но где еще в блестящих
Пространствах нежилых звучит живая речь,
Притягивающих и противостоящих
Нас, нам... сто раз собьюсь, стараясь смысл сберечь.

На сумрачном лугу курчавая овечка
Пасется, от одной звезды переходя
К другой... какая тьма! Ни звука, ни словечка...
Хотя бы конь вздохнул, заплакало б дитя.

Бессмысленно глядит кошмар мильоноглазый:
Ни слова,— хоть всю тьму, весь блеск перетряхни!
А в доме говорят... И самой пошлой фразой
Ты счастлив. Кто б ты был без этой болтовни?

* * *

Зарыться в ночь, во тьму ее и складки,
В живую тьму, в родную ночь!
Непрочен твой дворец, таинственный и шаткий,
Проточная листва, ночного страха дочь!

И все же в этой тьме, в щемящем этом страхе
Душа находит то, что музыки родней,—
Подобие ночной, счастливой той рубахи,
В которой родилась, потом забыв о ней.

Я так тебя люблю, кипящую во мраке,
Рисующую образ слуховой!
Ты — родина моя, ты — память об Итаке.
Кто вылеплен во тьме, Патрокл, Ахилл какой?

Тоскует он, встает и падает на ложе,
Но за плечи трясут, забыться не велят.
Что делать, что герой покрыт гусиной кожей
И тщится отвести прощальный, влажный взгляд?

Не будет сна души, не будет вечной лени!
Цепляйся, шелести, вплетай в полночный хор
Свой голос,— ободрят, поднимут на колени,
Потом и сам, храбрясь, ты спустишься во двор.

* * *

А то, что было не для взора
Чужого, что, на ветерке
Плеща, от сада скрыла штора,
Когда, на шелковом шнурке
Скользнув, упала без зазора,
Дыша, как парус на реке,—
Не блажью было, не позора
Утайкой (им, щекой к щеке
Припавшим, было не до хора
Птиц, щебетавших в лозняке) —

А продолженьем разговора
На новом, лучшем языке!

ДОЖДЬ

Я помню дождь и помню, как мы спали
Под шум дождя; в раю, увы, едва ли
Бывает дождь; дожди у нас везде
Идут весной; я вспомню о дожде.

Я вспомню, как он в окна наши бился,
Какой мне сон тогда счастливый снился,
Как просыпался я — и на моей
Руке дремала ты, как воробей.

Как он ходил, как бегал он по жести!
Как нам жилось легко и чудно вместе!
Смешливый дождь, рыдающий взахлеб!
Всемирный нам не страшен был потоп.

Кто виноват, что выпал век суровый?
Я вспомню дождь, весенний дождь кленовый
И тополиный, клейкий, в золотых
Разводах, дождь — усладу для живых.

Блаженный дождь; в аду, увы, едва ли
Бывает дождь; куда бы ни попали
Мы после смерти, будет, как зимой:
Звук отменен, завален тишиной.

Засыпан вечным снегом или зноем.
Я вспомню дождь с его звучащим строем,
Высоким, струнным, влажным, затяжным
И милосердным, выстраданным им.

* * *

Если б жить, никого не любя!
Плащ — товарищ, другого — не надо.
Он от ветра укроет тебя,
Прорезиненной тканью скрипя,
От дождя и пытливого взгляда.

Тот свободен, кто так одинок.
Что ему телефонный звонок?
Он как хвост не трясется овечий.

Сто дверей перед ним, сто дорог,
Вавилонская башня наречий.

Где я? Кто меня сделал таким,—
Страх за ближнего, дрожь и смятенье,—
Суеверным, пугливым, как дым,
По пригоркам ползущий ночным,
Обвивающий сны и виденья?

Боже мой! Никого не любить!
Мостовыми крутыми бродить.
Не равны ли все вещи на свете?
Подвернувшийся куст теревить:
Что кудряшки, что веточки эти.

Но душа моя в рабстве своем
С каждым часом теплей, с каждым днем,
С каждой болью сердечной и страхом,
И когда-нибудь станет огнем,
И сгорит, и взовьется над прахом!

* * *

Любовь — зависимость. Все мученики этой
Великой слабости — собратья по беде.
Письмо у Тютчева найдешь с живой приметой
Его отчаянья: он пишет о мечте,
Нужде, потребности всё, всё, живя в разлуке,
Знать, все подробности, о каждом сне и дне
Души, родной ему, кивая в жгучей муке
На письма к дочери мадам де Севинье.

Но ту же истовость и точно ту же фразу
Из писем к дочери мадам де Севинье
Ты помнишь издавна по горькому рассказу
О страсти губительной в Бальбекской стороне,
Где море плещется и мальчик франтоватый
Идет вдоль берега в погоне за мечтой.
Любовь — зависимость, и вечно виноватой
В любом краю земном пребудет, в век любой...

А тот, кто холоден, кто, сдержанный, не знает
Тоски мучительной, кто служит сам себе,
О, как бестрепетно, как он легко читает

Текст, не прикладывая вдруг к своей судьбе
Строки страдальческой. Ему никто не нужен,
Хозяин он себе... Скажи мне, почему
Я, полон страхами, с предчувствиями дружен,
Не поменялся б с ним, завидуя ему?

* * *

Вот счастье — с тобой говорить, говорить, говорить!
Вот радость — весь вечер, и вкрадчивой ночью, и ночью.
О, как она тянется, звездная тонкая нить,
Прошив эту тьму, эту яму волшебную, волчью!

До ближней звезды и за год не доедешь! Вдвоем
В медвежьем углу глуховатой Вселенной очнуться
В заставленной комнате с креслом и круглым столом.
О жизни. О смерти. О том, что могли разминуться.

Могли зазеваться. Подумаешь, век или два!
Могли б заглядеться на что-нибудь, попросту сбиться
С заветного счета. О, радость, ты здесь, ты жива.
О, нацеловаться! А главное, наговориться!

За тысячи лет золотого молчанья, за весь
Дожизненный опыт, пока нас держали во мраке.
Цветочки на скатерти — вот что мне нравится здесь.
О Тютчевской неге. О дивной полуденной влаге.

О вилле, ты помнишь, как двое порог перешли
В стихах его римских, спугнув вековую истому?
О стуже. О корке заснеженной бедной земли,
Которую любим, ревнуя к небесному дому.

* * *

Страх и трепет, страх и трепет, страх
За того, кто дорог нам и мил.
Страшно жить, с улыбкой на устах
Среди белых, среди черных крыл.

С самой жаркой, кровной стороны,
Уязвимо близкой, дорогой, —

Как мы жалки, незащищены,
Что за мука, вечный страх какой!

Кто б ты ни был, знаешь, как я груб,
Толстокож, привычен ко всему,
Как хочу почувствовать за дуб, —
Не за плющ, что вьется по нему.

Но средь сучьев, листьев и ветвей,
Потакая гибкому плющу,
Не в своей я власти, а в твоей,
Весь в твоей, ты видишь, трепещу!

И задобрить пробую беду,
И, пугаясь тени, как во сне,
Сам ищу в потемках руку ту,
Что из мрака тянется ко мне.

* * *

Смотри: речной валун как бы в сплошном дыму,
Белесом, голубом, слоеном, золотистом —
То тени мелких волн проходят по нему,
Как будто на него набросив бахрому,
Так чудно отразясь на сумрачном, зернистом.
На все это смотреть так больно одному!
Я обернусь к тебе и за руку возьму.
Что было — грубый холст, то стало вдруг батистом.
Тебя я не отдам! На свете этом мгlistом
Мне страшно без тебя, текучем, каменистом,
Дымящемся в лучах, сползающем во тьму.

* * *

Так видели всё одинаково: вещи, людей,
И так стиховая любая строка им готова
Была услужить, то ему вспоминаясь, то ей,
И так понимали друг друга они с полуслова,
Что только во сне посещали их разные сны:
И вздрагивал он — и она обнимала спросонок
Его, и кричала во сне — и среди тишины
Ее окликал он, на свет выводя из потемок.

Так слышали все одинаково: музыку, шум
Дождя, так был ими шиповник в саду облюбван,
И нежный ее так устроен был пристальный ум
И той же страницей, и тем же известьем взволнован,
Что только в минувшем их разные горести жгли
И разные призраки мучили в том пережитом,
Откуда друг друга, как с темного края земли,
Они вырочали, смутясь, с озабоченным видом.

СТОГ

Огромный, как собор, пахучий, золотой,
С подтеками на нем и вмятинами — ниши
Для статуй вспомнил я, — вот только где святой?
Исчез, зато внизу догадливые мыши
Живут в сухой земле, — готический вблизи
Фасад не рассмотреть, — таинственный, колючий,
На треснувшей оси
Осиновой, всю ночь царапающей тучи,
Вращающийся, нет, колеблемый слегка,
Бог знает чем вверху от сырости укрытый,
Поднимется рука
Похлопать по его поверхности изрытой —
И робкую скорей в смущенье уберешь:
Колюч, и ни к чему дымящемуся — ласка,
Так вот, застыв на миг, задумавшись, поймешь, —
Слоящаяся речь, сыпучая подсказка, —
Что легче в нем найти иголку, — боже мой,
Как ломок этот прах, как пыльны стебли эти, —
Так вот, вблизи сухой
Громады ощутишь в меняющемся свете,
Что легче в нем найти иголку, чем в толпе —
Единственного друга,
Любимого, что рок потворствует тебе,
Что зоркость не твоя была тут и заслуга!

* * *

Что за радость — в обнимку с волной,
Что за счастье — уткнувшись в кипящую гриву густую,
Этот дивный изгиб то одной обвивая рукой,
То над ним занося позлащенную солнцем другую,

Ему на туловище... Воздух тих и горек
И к вечной жизни прислонен.

Бог смерти в отпуске... Смутишься, не укажешь
Другим на сумрачную тень.

Лежи, зеленое! Ты завтра кофту свяжешь,—
Сегодня вызваны задумчивость и лень.

Известно, в отпуске счет времени утрачен.
Гора растаяла, уйдя за небосвод.

Никто не мрачен,
А только пасмурен, но пасмурность пройдет.

Кто спорит с временем, кто тяжбу с ним заводит,
Кто дружит, бедствует, живет в обнимку с ним,
Тот рад, когда его однажды не находит
Под небом вечно молодым.

* * *

Как тень, но белая, проходит пароход.
Есть жизнь, ты думаешь, без горя и забот,
Ее нездешние известны атрибуты
От белых поручней до выглаженных брюк.
Какой преследует тебя былой испуг?
Чем так отравлены беспечные минуты?

А море синее сменило синий цвет
На что-то блеклое, чему названья нет,
С морской поверхности как будто сняли кожу:
Лежит бесцветное, как вытекший моллюск,
Не знает, клейкое, чего я так боюсь,
И только светлую нести согласно ношу.

Ах, если б наша жизнь была чуть-чуть прочней!
Какие темные таятся тени в ней!
Когда б на палубу взошли и мы сквозную,
Тьма проступила бы,— и призрак ледяной
Не мог бы так скользнуть сквозь размягченный зной
К счастливой линии невидимой вплотную.

* * *

Где воздух, где вода?— все стало белым паром,
Сверкает и дрожит,— и лодочка, мой друг,

С гребцом, сидящим в ней, подвешена недаром
На удочку его кривую, как на крюк.

Я больше ничему не удивляюсь. Море,
Спроси его, само не знает, где оно.
Ты тоже о себе в счастливом разговоре
Не помнишь: всё в другом, как соль, растворено.

Мы в яркой этой мгле, мы в мареве молочном
Затеряны. Смотри, как воздух влаге рад,
Каким он зыбким стал, трепещущим, проточным,
Сверкающим, парным, надев ее наряд.

Так было в первый день, счастливый день творенья,
А все, что с давней той поры произошло,
Лишь трепет, лишь надрыв, лишь горечь
разлученья,
Прощанье каждый раз — и в этом смысле зло.

* * *

Из моря вытащив, поджаривают мидий,
В их створках каменных, на медленном огне,
Я есть не буду их. Мне жаль, что я их видел.
А море блеклое лежит как бы во сне,
Как бы сомлевшее, наполовину паром
Став, небом выпито и цвет отдав ему.
Подростки, угольным пугая взгляд загаром,
Сидят на корточках в волосяном дыму.

Быть может, обморок за сон я принял? Вялый
Пульс еле дышащей волны неразличим.
Дымок цепляется за ломкий, обветшалый
Тростник и прядкою сухой висит за ним.
Уйдем! Останемся! Я толком сам не знаю,
Чего мне хочется... Сквозь чувство тошноты
И этот вытекший я, мнится, понимаю
Мир, и мертвею с ним, и нет меж нас черты.

* * *

Морем с двенадцатого этажа,
Как со скалы, любоваться пустынным
Можно, громадой его дорожа,
Синим, зеленым, лиловым, полынным,

Розовым, блеклым, молочным, льняным,
Шелковым, вкрадчивым, пасмурным, грубым,
Я не найдусь,— ты подскажешь, каким,
Гипсовым, ржавым, лепным, белозубым.

Мраморным. Видишь, я рад перерыть,
Перетряхнуть наш словарь, выбирая
Определения. Господи, быть
Точным и пристальным — радость какая!
Что за текучий, трепещущий свет!
Как хорошо на летящем балконе!
Видишь ли, я не считаю, что нет
Слов, я и счастья без слов бы не понял.

* * *

Такая на море зеленая полоска!
Ее увидевший захочет жить и в горе.
Откуда глянца столько, блеска в ней и лоска?
Ему и в темном с ней не страшно коридоре.

Мы не покинуты на грозном этом свете.
Нас любит облако, нас дерево врачует.
Чересполосица, просветы в жизни эти,
Все эти полосы, и ветер с моря дует.

И детство вспомнится, и белая матроска.
Я цвета глаз твоих не знаю, моя радость.
Такая на море зеленая полоска!
А присмотрюсь — голубизна и лиловатость.

С морской поверхности как будто сняли кожу.
С балкона кажется, что мчится лошадь в мыле.
Нам вместо яруса, подумав, дали ложу,
Открыли царскую — и нас с тобой впустили.

* * *

Как пахнет эвкалипт пицундский, придорожный,
Как сбрасывает он обвисшую кору,
Сухой, неосторожный!
Для запахов никак я слов не подберу.

А в знойной вышине как будто десять шапок,
Так зеленью кустистой он накрыт.

Не память, не любовь, всего сильнее запах,
Который ускользнуть навеки норовит.

Вот то, чему и впрямь на свете нет названья.
Нельзя определить, понять через другой,
Сравнить... вот вещь в себе... молчит воспоминанье,
Воображенье спит... напрасен оклик твой.

Не отзовется тот, кто терпким, вездесущим,
Когда под ним стоишь, склонялся, обступал.
Он там, вдали от нас, прекрасен и запущен,
Как бы волшебный круг сплошной образовал,

Магический... зато когда-нибудь, хоть в жизни
Совсем другой, вернись под пышный свод,—
И он тебе вручит и нынешние мысли,
И знойный этот день в сохранности вернет.

* * *

А горы — то их нет, то вот они опять,
Курчавые, пришли, с подробностями всеми!
Кто складки им сумел шерстистые придать
И тучку поселить меж ними, как в эдеме?

Надолго ли? На час, покуда воздух свеж.
Останьтесь!— говорим. Но скучно им в низине.
И зной пугает их, и ты им надоешь,
И море, и шоссе, и яблоки в корзине.

Нет, нет, я их боюсь, мне этой высоты
Не выдержать, письма в разводах и нажимах.
Их тайнопись темна; зачем же хочешь ты,
Чтоб я на них смотрел, безлюдных, нелюдимых?

Другое дело — холм, предшествующий им,
Раскинувшийся так безвольно у подножья.
Вот кто доволен всем: и морем раздвижным,
И стекловидным сном, и воздухом, и дрожью.

А горы, постояв, уходят, крутизну
Убрав свою с небес и луч на ней раскосый,
И разве что намек полдневный на луну
Субстанцией своей похож на них, белесый.

РАЗВЕРНУТЫЙ УЗОР

1

ПЕРЕД СТАТУЕЙ

В складках каменной тоги у Гальбы стоит дождевая вода.
Только год он и царствовал, бедный,
Подозрительный... здесь досаждают ему холода,
Лист тяжелый дубовый на голову падает, медный.

Кончик пальца смочил я в застойной воде дождевой
И подумал: еще заражусь от него неудачей.
Нет уж, лучше подальше держаться от этой кривой,
Обреченной гримасы и шеи бычачьей.

Что такое бессмертие, память, удачливость, власть,—
Можно было обдумать в соседстве с обшарпанным бюстом.
Словно мелкую снасть
Натянули на камень,— наложены трещинки густо.

Оказаться в суровой, размытой дождями стране,
Где и собственных цезарей помнят едва ли...
В самом страшном своем, в самом невразумительном сне
Не увидеть себя на покрытом снежком пьедестале.

Был приплюснут твой нос, был ты жалок и одутловат,
Эти две-три черты не на вечность рассчитаны были,
А на несколько лет... но глядят, и глядят, и глядят.
Счастлив тот, кого сразу забыли.

2

Цезарь, Август, Тиберий, Калигула, Клавдий, Нерон...
Сам собой этот перечень лег в стихотворную строчку.
О, какой безобразный, какой соблазнительный сон!
Поиграй, поверти, поддержи на руке, как цепочку.

Ни порвать, ни разбить, ни местами нельзя поменять.
Выходили из сумрака именно в этом порядке,
Словно лишь для того, чтобы лучше улечься в тетрадь,
Волосок к волоску и лепные волнистые складки.

Вот теперь наконец я запомню их всех наизусть.
Я диван обогнул, я к столу прикоснулся и стулу.

На таком расстоянии и я никого не боюсь.
Ни навету меня не достать, ни хуле, ни посулу.

Преимущество наше огромно, в две тысячи лет.
Чем его заслужил я,— никто мне не скажет, не знаю.
Словно мир предо мной развернул свой узор, свой сюжет,
И я пальцем веду по нему и вперед забегаю.

3

Перевалив через Альпы, варварский городок
Проезжал захолустный, бревна да глина.
Кто-то сказал с усмешкой, из фляги отпив глоток,
Кто это был, неважно, Пизон или Цинна:
«О, неужели здесь тоже борьба за власть
Есть, хоть трибунов нет, консулов и легатов?»
Он придержал коня, к той же фляжке решив припасть,
И, вернув ее, отвечал хрипловато
И, во всяком случае, с полной серьезностью: «Быть
Предпочел бы первым здесь, чем вторым или третьим
в Риме...»
Сколько веков прошло, эту фразу пора б забыть!
Миллиона четыре в городе, шесть — с окрестностями
заводскими.
И, повернувшись к тому, кто на заднем сиденье спит —
Укачало его,— спрошу: «Как ты думаешь, изменился
Человек или он все тот же, словно пиния и самшит?»
Ничего не ответит, решив, что вопрос мой ему приснился.

ПРЕДМЕТНАЯ СВЯЗЬ

1

Низкорослой рюмочки пузатой
Помнят пальцы тяжесть и объем
И вдали от скатерти измятой,
Синеватым залитой вином.

У нее такое утолщенье,
Центр стеклянной тяжести внизу.
Как люблю я пристальное зренье
С ощущеньем точности в глазу!

И еще тот призыв истеричный,
Если палец съедет по стеклу!
И еще тот хаос пограничный,
Абажур, подтянутый к столу.

Боже мой, какие там химеры
За спиной склублились в темноте!
И какие страшные примеры
Нам молва приносит на хвосте!

И нельзя сказать, что я любитель,
Проводящий время в столбняке,
А скорее, слушатель и зритель
И вращатель рюмочки в руке.

Убыстритель рюмочки, качатель,
Рассмотритель блещущей — на свет,
Замедлитель гибели, пытатель,
Упредитель, сдерживатель бед.

2

Тарелку мыл под быстрою струей
И все отмыть с нее хотел цветочек,
Приняв его за крошку, за сырой
Клочок еды, — одной из проволочек
В ряду заминок эта тень была
Рассеянности, жизнь одолевавшей...
Смыть, смыть, стереть, добраться до бела,
До сути, нам сквозь сумрак просиявшей.

Но выяснилось: желто-голубой
Цветочек неделим и несмываем.
Ты ж просто недоволен сам собой,
Поэтому и мгла стоит за краем
Тоски, за срезом дней, за ободком,
Под пальцами приподнято-волнистым...
Поэзия, следи за пустяком,
Сперва за пустяком, потом за смыслом.

3

Есть вещи: ножницы, очки, зонты, ключи...
Полумистическое их существованье

Ввергает в оторопь... попробуй отучи
От уклоненья их, ущерб, прозябанья.

Всегда отсутствуют, когда они нужны.
Где был ты, градусник, когда тебя искали?
Иль там, за пологом, сильней, чем мы,
больны —

И ты поэтому не усидел в пенале?

Что делать с ножичком? Советовали нам
Цветную ленточку подвесить к ножке стула,
Чтоб сила некая, гуляя по ногам,
В пыли, нечистая, пропажу нам вернула.

Я, впрочем, связи тут не вижу никакой.
Но знают женщины здесь больше, чем мужчины:
В обмен на ленточку получишь ножик свой.
Причем здесь логика, кому нужны причины?

Вещами ведает какой-то младший дух,
Положит в тумбочку и трижды перепрячет,
Бубнит и шастает, жалеет он старух,
С детьми считается и умников дурачит.

ОБЩЕЕ ДЫХАНЬЕ

1

Зародышевый лист так плоск, но, желобком
Сворачиваясь, он не сразу, неумело,
Став трубочкой кривой, бог знает чем влеком,
Мужает в тесноте, — так обретают тело.

И, собственно, их три, зачаточных листка,
И каждый для своих стараться должен тканей.
Как горе велико! Как радость коротка!
Но совестно сказать: не стоило стараний.

Пластиночкою быть — и трубочкою стать.
Как плоскость несложна! Как замкнутость богата!
Я к телу привыкал. Мне будет жаль отдать
Всё, что я получил в багровой мгле когда-то.

Заботы о душе? Напрасно говорят.
Как с телом пережить ей, мгlistой, расставанье?
Ведь столько общих слез, и к слою слой прижат
В зародышевой тьме, и общее дыханье!

2

Биолог мне ланцетника покажет.
Полупрозрачный, хордовый, морской
Наш предок древний: видишь, как он машет
Хвостом, подвижный, с ловкостью какой!
Хвельщая нас, одолжит и обяжет

Его любить. Как беден он и наг!
Другой бы фыркнул. Я же предрассудков
Стыжусь. Меня пугали и не так.
Да, звеньев всех не счесть и промежутков,
Но хорда есть зачаточный костяк.

Природа братство пишет на знаменах.
Колонии кишечнoполостных,
Сидячих, прочно к рифу прикрепленных,—
Я б не отрeкся даже и от них!
Кирпично-красных, иссиня-зеленых,

Дрожащих порознь, свившихся жгутом.
Есть у меня тяжелый позвоночник,
Глазные ниши в черепе крутом.
Люблю читать под лампой, полуночник,
Когда все спят и все объято сном.

Спит ворон, клюв упрятав под крыло,
Спит крот в своем солдатском одеяле.
Как рядом спящий дышит тяжело!
Какой мы жар животный надышали!
Спи. Утомясь — и часа не прошло,

Клонясь ко сну над книжными дарами,
Прибрав добро к рукам своим и зло,
Мысль о родстве с живыми существами
Боюсь предать,— заветное тепло!
И ночь, как мать, склоняется над нами.

Вот кто поработал во славу науки — горох!
 Зеленых и желтых цветов для нее не жалея,
 Вот кто для генетики мок под дождями и сох
 Под солнцем, кого увлекала и грела идея!

И, пышный, цеплялся, и, цепкий, по палочке полз,
 Стараясь для Грегора признак явить доминантный.
 Вот кто в безоглядном сплетенье зацепок и лоз
 В наследственность верил и, гибкий, считал варианты.

И ежели друга найти в поколение другом
 Не смог, не печалься, быть может, найдешь его в третьем.
 Средь желтых цветов, стебелек зацепив рукавом,
 Заметишь зеленый, обласкан приветствием этим.

По дорожке садовой ходить
 Невозможно — так много улиток.
 Постараемся их не давить,
 Хоть природа и спишет убыток.

Ташат трубы они на себе.
 Так бредут духовые оркестры.
 Рок над ними навис, как в судьбе
 Ифигении и Клитемнестры.

Тельце вытекло, словно слеза
 Из закрученного матерьяла.
 Посмотри мне, природа, в глаза,
 Ты крутила их и выжимала?

Этот винтообразный нарост,
 Их доспехи, чалмы, балахоны
 Завиваются так же, как хвост
 У русалки с Ростральной колонны.

Рожки выставив, к мокрой груди
 То асфальт, то песок прижимая...
 Вылезай из себя, выходи!
 Нынче жесткая мода такая!

Представь себе: еще кентавры и сирены,
 Помимо женщин и мужчин...
 Какие были б тягостные сцены!
 Прибавилось бы вздора, и причин
 Для ревности, и поводов для гнева.
 Все б страшно так переплелось!
 Не развести бы ржанья и напева
 С членораздельной речью — врозь.

И пело бы чудовище нам с ветки,
 И конь стучал копытом, и добро
 И зло совсем к другой тогда отметке
 Вздымались бы, и в воздухе перо
 Кружилось... Как могли б нас опорочить,
 Какой навлечь позор!
 Взять хоть Улисса, так он, между прочим,
 И жил,— как упростилось все с тех пор!

—

* * *

С тем и не встретился, с кем встреча ничему
 Не послужила бы: ни радости, ни горю.
 Не окликай меня: мне лучше одному
 Бродить по городу или спуститься к морю.

Когда-то верилось, что от числа знакомств
 Зависит жизнь моя, забыть себя готова.
 Теперь мне нравится спуститься под откос,
 Скользя по гравию, не говоря ни слова.

С тем и не встретился, с кем день, как дым в трубу,
 Ушел бы пасмурный; и я ему не нужен,
 И он не дорог мне; зачем пытаться судьбу,
 Чужих даров просить, желать чужих жемчужин?

Когда-то верилось, что тот, кто знаменит,
 Тем обязательней для нас, чем знаменитей.
 Теперь мне нравится, что пенный вал кипит
 И время тянется средь камешков и мидий.

С тем и не встретился, с кем встречу не дал рок.
Слепит и дыбится у ног волной певучей.
С тем и не встретился, с кем встретиться не мог,
Что то же самое — с кем встречу не дал случай.

* * *

Другие дети ведь и жены же не те!
Но Иов разницы не замечает, бедный.
Ему б очки твои, но их еще нигде
Нельзя достать. Увы, наш друг ветхозаветный
На чада кроткия глядит, как на стада.
Да кто ж овец в лицо и в самом деле знает?
Следит лишь, ласковый, чтобы в бадье вода
Плескалась звонкая, и желоб наполняет.

Как блики теплые расплылись по воде!
Как будто круглые по ней прошлись копытца.
Другие жены ведь и дети же не те!
Его сговорчивости как не умилиться?
Но умиление подточено тоской,
И возмущением, и можно ль мех курчавый
Трепать, случившийся под левою рукой,
И кудри жесткие, забывшись, гладить правой?

* * *

А вы, стихи, дневные сны в лучах
И мареве преддождевом, и неге,
Дрожите вы прекрасными в очах
Виденьями,— полуоткрыты веки,
Но взгляд не видит то, что видит он:
Бумагу, стол, все эти вещи, в бедном
Значенье их, а — некий знойный сон,
Счастливый сон в звучании заветном.

О, бодрствованье, с пристальной, дневной,
Таинственной, сновидческой подкладкой!
Как странно жить томительно двойной
И призрачной, непрочной жизнью шаткой!

Лесных зверей, не знаю, почему,
Я разглядел, заслушавшихся песней.

Дневные сны глядят в ночную тьму
И с ней — в родстве, но тоньше и чудесней...
Я знаю, знаю, кто это, — Орфей.
Вокруг него чудовища теснятся...
Не ты придумал сонмище теней,
Не ты их вызвал к жизни, — сами снятся!

* * *

Обещаю тебе, что твой след на прибрежном песке,
Утрамбованном, крупнозернистом,
Смытый хищной волной, что боролась в звериной тоске
С отпечатком ребристым,
Обещаю тебе, что, мгновенный, останется он
С черной ракушкой вдавленным в эту хрустящую массу.
Оглянись: даже сон,
Если помним его, нерушим и подобен алмазу.

Обещаю тебе, что для вечности большего нет
Удовольствия, чем сохранить мотылька-однодневку,
Или залитый волнами след,
Иль истлевший клочок, в прежней жизни приколотый
к деревку,

Обещаю тебе, что не канет ничто, не пройдет,
А еще есть бумага, чернила,
Обещаю тебе этот берег, громоздкий полет
Низких туч, и песок... слепок сделан и форма застыла.

* * *

Гудок пароходный — вот бас; никакому певцу
Не снилась такая глубокая, низкая нота;
Ночной мотылек, обезумев, скользнет по лицу,
Как будто коснется слепое и древнее что-то.

Как будто все меры, которые против судьбы
Предприняты будут, ее торжество усугубят.
Огни ходовые и рев пароходной трубы.
Мы выйдем — нас встретят, введут во дворец и полюбят.

Сверните с тропы, обойдите, не трогайте нас!
Гудок пароходный берет эту жизнь на поруки.

Как бы в три погибели, грузный зажав контрабас,
Откуда-то снизу, с трудом, достают эти звуки.

На ощупь, во мраке... Густому, как горе, гудку
Ответом — волненье и крупная дрожь мировая.
Так пишут стихи, по словцу, по шажку, по глотку,
С глазами закрытыми, тычась и дрожь унимая.

Как будто все чудища древнего мира рычат,
Все эти драконы, грифоны, быки, минотавры...
Дремучая жизнь и волшебный, внимательный взгляд,
И, может быть, даже посмертные бедные лавры.

* * *

За дачным столиком, за столиком дощатым,
В саду за столиком, за вкопанным, сырым,
За ветхим столиком я столько раз объятым
Был светом солнечным, вечерним и дневным!

За старым столиком... слова свое значенье
Теряют, если их раз десять повторить.
В саду за столиком... почти развоплощенье...
С каким-то Толиком, и смысл не уловить.

В саду за столиком... А дело в том, что слишком
Душа привязчива... и ей в щелях стола
Все иглы дороги, и льнет к еловым шишкам,
И склонна всё отдать за толику тепла.

* * *

В объятых августа, увы, на склоне лета
В тени так холодно, на солнце так тепло!
Как в узел, стянуты два разных края света:
Обдало холодом и зноем обожгло.

Весь день колышутся еловые макушки.
Нам лень завещана, не только вечный труд.
Я счастлив, Дельвиг, был, я спал на раскладушке
Средь века хвойного и темнокрылых смут.

Как будто по двору меня на ней таскали:
То я на солнце был, то я лежал в тени,
С сухими иглами на жестком одеяле.
То ели хмурились, то снились наши дни.

Казалось вызовом, казалось то лежанье
Безмерной смелостью, и ветер низовой
Как бы подхватывал дремотное дыханье,
К нему примешивая вздох тяжелый свой.

* * *

Покуда кто-то спит, на стол облокотясь,
Как будто жизнь проспать и есть его задача,
Как странен он и тих, утратив с миром связь,
Не помня ничего, не ведая, не знача.

Покуда кто-то спит, всего важнее сон,
Который на его лице, как бы туманном,
Читается, как тень, в тот миг запечатлен
Со всем, что может быть в нем сдвинутым и странным.

И радость нам видна, как летом на стене
Клубящаяся тень от дуба или клена.
Что, жалкий, видит он в таинственной стране?
Чему он так без нас внимает оживленно?

Покуда кто-то спит, покуда со стола
Не съехал, напугав его до смерти, локоть,
Доверчивость его среди добра и зла
И свары мировой не может не растрогать.

Сверкай, сверкай, стакан под спящею рукой,
И в стопке на краю блести, блести, бумага!
Покуда кто-то спит, вокруг него покой
Сочувственный разлит, как пролитая влага.

Уверенность, что он вернется в тот же мир,
Откуда в нем она? И мы, когда минуем
На цыпочках тот сон в плену своих квартир,
На спящего глядим и, кажется, рвнуем.

* * *

В лазурные глядятся озера...

Тютчев

В лазурные глядятся озерá
Швейцарские вершины,— ударенье
Смещенное нам дорого, игра
Споткнувшегося слуха, упоенье
Внушает нам и то, что мгла лежит
На хólмах дикой Грузии, холмится
Строка так чудно, Грузия простит,
С ума прыгнúть, так словно шевелítся.

Пока еще язык не затвердел,
В нем рéзвятся, уча пенью и вздохам.
Резéда и жасмин... Я б не хотел
Исправить все, что собрано по крохам
И ластится к душе, как облачкó,
Из племени духóв,— ее смутивший
Рассеется призра́к,— и так легко
Внимательной, обмолвку полюбившей!

* * *

Двум поэтам в комнате одной
Трудно находиться,
Потому что музы за спиной
Ссорятся, мечтая помириться.

Остроумен этот, тот — угрюм,
И не клеится беседа.
А союз сердец и общность дум —
Вымысел литературоведа.

Как две птицы, пойманные в сеть,—
Ласточка и чайка.
Им на снимке порознь бы сидеть,
Да свела в гостях судьба-хозяйка.

Пестрый галстук, вязаная шаль.
Не склонить свой слух к чужому слову.
Только веку, может быть, не жаль
Их обоих, птицелову.

И Элизиум, увы,
Не прельщает их: какая скука
Там, в тени невянувшей листвы,
Парами гулять, читать друг друга.

Голубой оправдывают фон,
Ни дымка табачного, ни хмеля,
Только Аристотель и Платон
В станцах Рафаэля.

* * *

В любительском стихотвореньи огрехи страшней, чем грехи.
А хор за стеной в помещенье поет, заглушая стихи,
И то ли стихи не без фальши иль в хоре, фальшивя, поют,
Но как-то все дальше и дальше от мельниц, колес и запруд.

Что музыке жалкое слово, она и без слов хороша!
Хозяина жаль дорогого, что, бедный, живет не спеша,
Меж тем как движенье, движенье прописано нам от тоски.
Все благо: и жалкое пенье, и рифм неумелых тиски.

За что нам везенье такое, вертлявых плотвичек не счесть?
Чем стихотворенье плохое хорошего хуже, бог весть!
Как будто по илу ступаю в сплетенье придонной травы.
Сказал бы я честно: не знаю,— да мне доверяют, увы.

Уж как там, не знаю, колеса немецкую речку рыхлят,
Но топчет бумагу без спроса стихов ковыляющий ряд,—
Любительское сочиненье при Доме ученых в Лесном,
И Шуберта громкое пенье в соседнем кружке хоровом.





**ИЗ КНИГ
1962—1975
ГОДОВ**



ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

1962

* * *

Когда я очень затоскую,
Достану книжку записную.
И вот ни крикнуть, ни вздохнуть,—
Я позвоню кому-нибудь.
О голоса моих знакомых!
Спасибо вам, спасибо вам
За то, что вы бывали дома
По непробудным вечерам,
За то, что в трудном переплете
Любви и горя своего
Вы забывали, как живете,
Вы говорили: «Ничего».
И за обычными словами
Была такая доброта,
Как будто бог стоял за вами
И вам подсказывал тогда.

КОМНАТА

К двери припаду одним плечом,
В комнату войду, гремя ключом.
Я и через сотни тысяч лет
В темноте найду рукою свет.
Комната.
Скрипящая доска.
Четырехугольная тоска.
Круг моих скитаний в полумгле.
Огненное солнце на столе.
Раз в году бросаясь на вокзал,
Я из тех, кто редко уезжал.

Как уеду я? Куда уйду?
Отпуска бывают раз в году.
Десять метров мирного житья,
Дел моих, любви моей, тревог,—
Форма городского бытия,
Вставшая дорогам поперек.

ВВОДНЫЕ СЛОВА

Возьмите вводные слова.
От них кружится голова,
Они мешают суть сбересть
И замедляют нашу речь.
И все ж удобны потому,
Что выдают легко другим,
Как мы относимся к тому,
О чем, смущаясь, говорим.
Мне скажут: «К счастью...»

И потом

Пусть что угодно говорят,
Я слушаю с открытым ртом
И радуюсь всему подряд.
Меня, как всех, не раз, не два
Спасали вводные слова,
И чаще прочих среди них
Слова «во-первых», «во-вторых».
Они, начав издалека,
Давали повод не спеша
Собратся с мыслями, пока
Не знаю где была душа.

* * *

Прозаик прозу долго пишет.
Он разговоры наши слышит,
Он распивает с нами чай.
При этом льет такие пули!
При этом как бы невзначай
Глядит, как ты сидишь на стуле.

Он, свой роман в уме построив,
Летит домой, не чуя ног,
И там судьбой своих героев
Распоряжается, как бог.

То судит их, то выручает,
Им зонтик вовремя вручает,
Сначала их в гостях сведет,
Потом на улице столкнет,
Изобразит их удивленье.
Не верю в эти совпадения!
Сиди, прозаик, тих и нем.
Никто не встретился ни с кем.

* * *

Разлуки наши дольше и трудней.
Во Франции
Какие расставанья?
В Германии
Какие расстоянья?
До Сахалина ехать десять дней.
Любови наши дольше и трудней.
А лето наше жестче и короче.
Между влюбленными стоят глухие ночи,
В метелях тысячи скитаются огней.
Между влюбленными у нас такие споры,
Возвышенности, изменности...

Нам

Всего милей ночные разговоры,
Горячее дыханье телеграмм.
И паровозы наши дышат тяжело,
В рассветные врываясь города.
На наших ящиках почтовых открывашка
Весь день стучит и ночью — иногда.
Читайте про любовь за рубежом,
Про западные праздничные страсти,
Но девушка вам утром скажет: «Здрасте»,
Квитанцию сверяя с багажом.
А голос у нее — как у жены...
Так вот когда и вам из этой чаши!
И вы поймете, как на чувства наши
Влияет география страны.

НА ПАРОХОДЕ

Расставанья,
расстоянья.

Письма,
залы ожидания.
Привыканья
к пререканьям
и казенным простыням.
Приставанья к пристаням.
И ночной воды
плесканье,
и речной звезды
сверканье,
и простаиванье там.
А кого-то звали Лёхой.
«Слышишь, Лёха! Тюк бери».
Продвиженье
встречных грузов,
прохождение
темных шлюзов,
суета и суматоха,
цепи, башни, фонари.
По ночам будил поляны
окрик сиплого гудка,
заползали в сны туманы,
залетали облака.
Городов ночные чары!
Чебоксары! Чебоксары!
Утром встанешь у перил,
глянешь на воду убито:
что-то важное забыто,
и не вспомнить, что забыл...

НА ТЕЛЕГРАФЕ

На телеграфе грустен юмор.
Удобен способ телеграмм,
Но слово «жив» и слово «умер»
Равны по стоимости там.
На телеграфе учат стилю.
Ни лишних слов, ни запятой.
О, сколько раз мы подходили
К перегородке золотой!
И: «Кто последний? Я за вами».
И маялись невдалеке
С пятью тяжелыми словами
На вытянутой руке.

И карандаш телеграфистки
Над нашим горем замирал.
И на рассвете наших близких
Звонок с постели поднимал.

ЧУЖОЕ ГОРЕ

Пугает нас чужое горе.
О, как бледнеем перед ним
Наедине и в разговоре!
Свое не кажется таким,
Наоборот. Мне было плохо,
Но все казалось: за спиной
Я не заслуживаю вдоха
И плохо с кем-то, не со мной.
Считалось, мне ходить опасно
Туда, где рельсы, мост и мрак,
Но я почувствовать несчастным
Себя никак не мог, никак.
Я убежал полуодетым.
И, только вспомнив про беду,
Вдруг удивлялся — и при этом
Чуть спотыкался на ходу.

ДВА МАЛЬЧИКА

А. Битову

Два мальчика, два тихих обормотика,
ни свитера,
ни плащика,
ни зонтика,
под дождичком
на досточке
качаются,
а песенки у них уже кончаются.
Что завтра? Понедельник или пятница?
Им кажется, что детство долго тянется.
Поднимется один,
другой опустится.
К плечу прибилась бабочка-
капустница.
Качаются весь день с утра и до ночи.

НАД МИКРОСКОПОМ

Побудь средь одноклеточных,
Простейших водяных.
Не спрашивай: «А мне-то что?»
Сам знаешь — всё от них.

Ну как тебе простейшие?
Имеют ли успех
Милейшие, светлейшие,
Глупейшие из всех?

Вот маленькая туфелька
Ресничками гребет.
Не знает, что за публика
Ей вслед кричит: «Вперед!»

В ней колбочек скопление,
Ядро и вакуоль,
И первое томление,
И, уж конечно, — боль.

Мы как на детском празднике
И щурим левый глаз.
Мы, как десятиклассники,
Глядим на первый класс.

* * *

Там, где на дне лежит улитка,
Как оркестровая труба,
Где пескари шныряют прытко
И ждет их страшная судьба

В лице неумолимой щуки, —
Там нимфы нежные живут,
И к нам протягивают руки,
И слабым голосом зовут.

У них особые подвиды.
В ручьях красуются наяды,
Среди густых деревьев — дриады,
И в море синем — nereиды.

Их путать так же неприлично,
Как, скажем, лютик водяной,
И африканский, необычный,
И ядовитый луговой.

Отнюдь не праздное всезнайство!
Поэт, усилий не жалей,
Не запускай свое хозяйство
И будь подробен, как Линней.

* * *

Влюбляясь в мира дивную красу,
Скажи, на чем задержимся подолгу?
Меняй, дурак, корову на козу,
Козу на кошку!
Кошку на иголку!

Что говорить, корова хороша.
Иголка рядом с ней едва заметна.
Зато блестит. И вольная душа
Над нею содрогается победно.

Что нам взамен предложит здравый смысл?
Советчик наш умен, но стар и лыс,—
Всего скорее, вздох по поросенку...

Смеси, дурак, бредущих по проселку.
Не обращай вниманья на хулу.
О козьей шерсти думать ли, о мясе?
Козу на кошку!
Кошку на иглу!
Сияй нам, жизнь, во всем многообразье!

ЖОНГЛЕР

Легко и точно, как планеты,
Путей которых не пойму,
Под потолок летят предметы
И возвращаются к нему.

Стаканы в воздухе сверкают.
Им хорошо. Из них не пьют.

Из них не пьют! Их вверх бросают.
Их вверх бросают! И не бьют.

А у жонглера череп голый
И голубые лацкана.
Он ученик формальной школы,
В нем эта выучка видна.

Стаканы вертятся, как белки,
Не выходя из игры.
«Эй, ассистентки! Где тарелки?
Ташите кегли и шары!
Ножи и свечи!

Живо, живо!»

Все вещи втягивая в круг,
Стоит жонглер, как древний Шива,
Мелькают сразу десять рук.

ОСЕНЬ

Деревья листву отряхают,
И солнышко сходит на нет.
Всю осень грустят и вздыхают
Полонский, и Майков, и Фет.
Всю осень, в какую беседку
Ни сунься — мелькают впотьмах
Их брюки в широкую клетку,
Тяжелые трости в руках.
А тут, что ни день, перемены:
Слетает листок за листком.
И снова они современны
С безумным своим шепотком.
Как штопор, вонзится листочек
В прохладный и рыхлый песок —
Как будто не вытянул летчик,
Неправильно взял, на глазок.
Охота к делам пропадает,
И в воздухе пахнет зимой.
«Мой сад с каждым днем увядает».
И мой увядает! И мой!

НОЧНЫЕ КУПАНЯ

Ночные купанья! Морские!
Прощайте, друзья городские!
Я в черную воду войду
И звезды рукой разведу.

Кто скажет, что я притворяюсь,
Когда я и впрямь растворяюсь.
Вокруг ни души, ни огня,
И кажется: нету меня.

И нет шевельнуться охоты.
Ты думаешь, плаваю?
 Что ты!
Кто плавает ночью? Лежу
И в звездное небо гляжу.

А небо все ближе, все ближе,
А сердце все тише, все тише,
И справа, и слева вода.
Ну что ж, тебе весело? Да!

Волна меня бьет по затылку
И гладит меня, как бутылку,
И я, в золотых пузырьках,
Верчусь у нее на руках.

ГРАФИН

Вода в графине — чудо из чудес,
Прозрачный шар, задержанный в паденье!
Откуда он? Как очутился здесь,
На столике, в огромном учрежденье?
Какие предрассветные сады
Забыли мы и помним до сих пор мы?
И счастлив я способностью воды
Покорно повторять чужие формы.
А сам графин плывет из пустоты,
Как призрак льдин, растаявших однажды,
Как воплощенье горестной мечты
Несчастных тех, что умерли от жажды.
Что делать мне?

Отпить один глоток,

Подняв стакан? И чувствовать при этом,
Как подступает к сердцу холодок
Невыносимой жалости к предметам?
Когда сотрудница заговорит со мной,
Вздохну, но это не ее заслуга.
Разделены невидимой стеной,
Вода и воздух смотрят друг на друга...

СТАКАН

Поставь стакан на край стола
И рядом с ним постой.
Он пуст. Он сделан из стекла.
Он полон пустотой.
Граненый столбик. Простачок.
Среди других посуды
Он тем хорош, что одинок.
Такой простой сосуд!
Собрание лучей дневных!
И вот, куда ни встань,
Сверкает ярче остальных
Не та, так эта грань.
А рядом пропасть, точно пасть
Разверстая. И что ж?
Он при возможности упасть
Особенно хорош.
С ним не должно случиться зла,
Покуда ты вблизи.
Поставь стакан на край стола
И сам его спаси.

* * *

Когда я мрачен или весел,
Я ничего не напишу.
Своим душевным равновесьем,
Признаться стыдно, дорожу.

Пускай, кто думает иначе,
К столу бежит, а не идет,
И там безумствует, и плачет,
И на себе рубашку рвет.

А я домой с вечерних улиц
Не тороплюсь, не тороплюсь.
Уравновешенный безумец,
Того мгновения дождусь,

Когда большие гири горя,
Тоски и тяжести земной,
С моей душой уже не споря,
Замрут на линии одной.

ФОНТАН

Фонтана яростное тело
Дымилось, высилось, блестело,
Из узкой вырвавшись трубы.
Оно шумело, как дубы,
Прохладно, ровно и воздушно.
Но, в общем, было так послушно
В своих невидимых тисках,
Что женщину напоминало.
Приподнималась на носках
И руки кверху поднимала.
И все на месте на одном
Кружилась, белых ног не пряча,
Бросалась в сторону потом
И возвращалась, громко плача,
И, набирая высоту,
Опять под облако летела,
До слез похожая на ту,
Что на нее, смеясь, глядела.





НОЧНОЙ ДОЗОР

1966

* * *

Я видел подлость и беду.
Но стих прекрасно так устроен,
Что вот — я весел и спокоен,
Как будто я в большом саду.

Черты случайные сотру,
Свою внимательность утворю.
Чему стихи нас учат? Строю.
Точнее — стройности. Добру.

Они, среди шумной полумглы,
Блестящим кажутся прибором
Высокой точности, с которым
Сверяют дали и углы.

Не будем шага прибавлять
И закрывать лицо руками.
Не лучше ль зорко за ветвями
Просвет далекий различать?

И знать, что зло — как сон дурной,
Добро ж подсказано всем ходом
Стиха, размером, хороводом
Дубов, стоящих за спиной.

ЛАСТОЧКА

Напомнит смещливых художниц,
Заслуженных тех модельерш
Мелькание маленьких ножниц
И неба высокий манеж.

Волшебница и мастерица,
Стриги этот воздух, стриги,
О ласточка, о баловница,
На ромбы, квадраты, круги.

За то, что я ведаю цену
Мельканьям во мгле голубой,
Замри надо мною, прицелься,
Прикинься веселой судьбой.

Покуда я рядом, покуда
Все небо в полдневном огне,
Из этого общего чуда
Выкраивай что-нибудь мне!

* * *

Звезда над кронами деревьев
Сгорит, чуть-чуть не долетев.

И ветер дует... Но не так,
Чтоб ели рухнули в овраг.

И ливень хлещет по лесам,
Но, просветлев, стихает сам.

Кто, кто так держит мир в узде,
Что может птенчик спать в гнезде?

ПРОСТЫЕ ТЯЖЕСТИ ЗЕМЛИ

1

Раз десять поправишь рукой
На скатерти вилку, покуда
Случится нечаянно чудо
И мысль обретает покой.
И жизнь хороша, хороша.
Как будто не вилка мешала,
Как будто к чему-то душа
Легла, а тогда — не лежала.

Не жить уверенно и четко!
 Опять все валится из рук:
 стакан с водой, зубная щетка
 И жизнь, наскучившая вдруг.
 Душа тоскует и томится,
 Ей тесно с самого утра.
 Зачем ты с легкостью счастливица
 Перегрузил ее вчера
 Тоской, склонял ее к чернилам,
 Пугал несчастьями вдали?
 И вот ей нынче не по силам
 Простые тяжести земли.

Где ищем? В спальне, и в столовой,
 И на окне, и меж дверей,
 Как будто поиск бестолковый
 Припоминаний всех верней.
 Скрипит недужно ось дверная,
 И дверца шкафчика поет,
 И голова моя дурная
 Ногам покоя не дает.
 И суечусь и проклинаяю,
 Чуть не кричу, не плачу чуть,
 Но не сажусь, не вспоминаю:
 Так трудно вспомнить что-нибудь.

ВТОРАЯ ПРОФЕССИЯ

И все-таки я чувствую себя
 Уверенно. И что б ни завладело
 Душой моей, на время ослепя,—
 Два дела у меня, мой друг, два дела.

Пускай меня попробуют смутить:
 Не делом занят, мол, двумя делами —
 Я с ласточкой рискну себя сравнить
 В том смысле, что машу двумя крылами.

Держи меня, воздушная струя!
Поглядываю искоса на стаю.
«Кто здесь неповоротливый?» — «Не я!»
Пером вожу и мелом нажимаю.

И если кто-то, стоя за спиной,
Набросится — крылом его задело, —
Я так скажу: «Намаешься со мной.
Два дела у меня, мой друг, два дела».

* * *

Желтоватый и недужный,
Остужающий висок,
Не оставь меня без дружбы,
Горький охтинский денек.

О, бывали много слаще!
Но на памяти моей
Ты со мной случался чаще
Всех других прекрасных дней.

И в конце концов какие
Мне приснятся деревья?
Не твои ль, полунагие
И заметные едва?

Сколько раз на повороте
У ремонтных мастерских
Я терялся в переплете
Резких молний заводских!

И кирпич фабричный голый
Всех строений и цехов,
В том числе — вечерней школы,
Поражал — так был багров.

Не оставь меня, расхожий
Горький охтинский денек!
Не оставь меня, прохожий!
Не оставь меня, гудок!

Паровозный крик невнятный,
В лужах пестрая вода

И суровый смысл понятный
Ежедневного труда!

* * *

Изнанка листьев такова,
Что нет красивей тополиных
Рядов серебряных, старинных,
Чья ветром вздыблена листва.

Какая рань! Какая грусть!
Как ветер дует спозаранку!
Но после листьев наизнанку
Изнанки жизни не боюсь.

Изнанка жизни такова:
То спор, то снова перебранка,
Саднит, как содранная ранка,
А впрочем, блещет, как листва!

О, так же, холодом дыша,—
В ознобе вся, полувоздушна,
Неудержима, непослушна,
На ощупь так же хороша.

* * *

Декабрьским утром черно-синим
Тепло домашнее покинем
И выйдем молча на мороз.
Киоск фанерный льдом зарос,
Уходит в небо пар отвесный,
Деревья бьет сырая дрожь,
И ты не дремлешь, друг прелестный,
А щеки варежку трешь.

Шел ночью снег. Скребут скребками.
Бегут кто тише, кто быстрее.
В слезах, под теплыми платками,
Проносят сонных малышей.
Как не похожи на прогулки
Такие выходы к реке!
Мы дрогнем в темном переулке
На ленинградском сквозняке.

И я усилием привычным
Вернуть стараюсь красоту
Домам, и скверам безразличным,
И пешеходу на мосту.
И пропускаю свой автобус,
И замерзаю, весь в снегу,
Но жить, покуда этот фокус
Мне не удался, не могу.

* * *

О здание Главного штаба!
Ты желтой бумаги рулон,
Размотанный слева направо
И вогнутый, как небосклон.

О море чертежного глянца!
О неба холодная высь!
О, вырвись из рук итальянца
И в трубочку снова свернись.

Под плащ его серый — под мышку.
Чтоб рвался и терся о шов.
Чтоб шел итальянец вприпрыжку
В тени петербургских садов.

Под ветром, на холоде диком,
Едва поглядев ему вслед,
Смекну: между веком и мигом
Особенной разницы нет.

И больше, чем стройные зданья,
В чертах полюблю городских
Веселое это сознание
Таинственной зыбкости их.

СТАРИК

Кто тише старика,
Попавшего в больницу,
В окно издали
Глядящего на птицу?

Кусты ему видны,
Прижатые к киоску.
Висят на нем штаны
Больничные в полоску.

Бухгалтером он был
Иль стекла мазал мелом?
Уж он и сам забыл,
Каким был занят делом.

Сражался в домино
Иль мастерил динамик?
Теперь ему одно
Окно, как в детстве пряник.

И дальний клен ему
Весь виден, до прожилок,
Быть может, потому,
Что дышит смерть в затылок.

Вдруг подведут черту
Под ним, как пишут смету,
И он уже — по ту,
А дерево — по эту!

ПЛАСТИНКА

Я слушаю тихое пенье,
Приставив ладони к лицу,
И старой пластинки шипенье
Лишь на руку мне и певцу.

Так тих этот голос далекий
И глух, удаляясь во тьму,
Как будто в нелегкой дороге
Ворсинки пристали к нему.

Как будто он слышен, тревожный,
Сквозь вкрадчивый шорох дождя,
Как будто певец осторожный
Пел в свитере, горло щадя.

Когда ж переводит дыханье
Певец и секунду молчит,
Его заменяет шуршанье,
И кажется — время шуршит.

То вдруг приближаясь, то пятясь,
Выходит тот день из угла,
Когда граммофонная запись
Так несовершенна была.

И вижу я столик дубовый
На крашенных ножках резных,
И записи оттиск готовый,
И несколько проб запасных.

А главное, вижу артиста
И свитер суровый его.
Он шутит: немножко нечисто,
Но страшного нет ничего.

Он знает, что высшая радость —
Не четкость, любимица всех,
Но дивная шероховатость
И пенье среди многих помех!

ШАШКИ

Я представляю все замашки
Тех двух за шахматной доской.
Один сказал: «Сыграем в шашки?
Вы легче справитесь с тоской».

Другой сказал: «К чему поблажки?
Вам не понять моей тоски.
Но если вам угодно в шашки,
То согласитесь в поддавки».

Ах, как легко они играли!
Как не жалели ничего!
Как будто по лесу плутали
Вдали от дома своего.

Что шашки? Взглядом умиленным
Свою скрепляли доброту,
Под стать уступчивым влюбленным,
Что в том же прятались саду.

И в споре двух великодуший
Тот, кто скорее уступал,
Себе, казалось, делал хуже,
Но, как ни странно, побеждал.

* * *

Е. Рейну

Мрачнее с каждым днем
Лицо твое, мой друг.
Какая темень в нем,
Хотя светло вокруг!

Не знаю, что с тобой,
Ты, как свеча, потух,
Уж за твоей спиной
Тебя жалеют вслух.

И только я нет-нет
И загляжусь, прости,
Как ты идешь сквозь свет,
Печальный, тьма почти.

Угрюмый, мгла на вид.
Когда проходишь ты,—
Как к ночи, дуб шумит
И шелестят кусты.

Еще не весь, не весь
Во мраке. По пятам
Лечу. Еще ты здесь:
Наполовину — там.

Когда совсем как мрак
Ты станешь, тьма точь-в-точь,
Зайди ко мне, но так,
Как входит ночью ночь.

* * *

Эти сны роковые — вранье!
А рассказчикам нету прощенья,
Потому что простое житье
Безутешней любого смещенья.

Ты увидел, когда ты уснул,
Весла в лодке и камень на шее,
А к постели придвинутый стул
Был печальней в сто раз и страшнее.

По тому, как он косо стоял —
Ты б заплакал, когда б ты увидел,—
Ты бы вспомнил, как смертно скучал
И как друг тебя горько обидел.

И зачем — непонятно — кричать
В этих снах, под машины ложиться,
Если можно проснуться опять —
И опять это все повторится.

* * *

Бог семейных удовольствий,
Мирных сценок и торжеств,
Ты как сторож в садоводстве,
Стар и добр среди божеств.

Поручил ты мне младенца,
Подарил ты мне жену,
Стол, и стул, и полотенце,
И ночную тишину.

Но голландского покроя
Мастерство и благодать
Не дают тебе покоя
И мешают рисовать.

Так как знаем деньгам цену,
Ты рисуешь нас в трудах,
А в уме лелеешь сцену
В развлеченьях и цветах.

Ты бокал суешь мне в руку,
Ты на стол швыряешь дичь
И сажаешь нас по кругу,
И не можешь нас постичь!

Мы и впрямь к столу присядем,
Лишь тебя не убедим,
Тихо мальчика погладим,
Друг на друга поглядим.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Чтоб двадцать свечей зажечь
С одной горящей спички,
Пришлось тому, кто начал речь,
Обжечься с привычки.

Лихие спорщики — и те
Следили, взяв конфету,
Как постепенно в темноте
Свет прибавлялся к свету.

Тянулся нож во мгле к лучу,
И грань стекла светилась,
И тьмы на каждую свечу
Все меньше приходилось.

И думал я, что жизнь и свет —
Одно, что мы с годами
Должны светлеть, а тьма на нет
Должна сходить пред нами.

Сидели мы плечо к плечу,
Казалось, думал каждый
О том, кто первую свечу
В нас засветил однажды.

Горело мало, что ли, свеч,
Туман сильнее клубился,
Что он еще одну зажечь
Решил — и ты родился.

И что-то выхватил из мглы:
Футляр от скрипки, скрипку,

Бутыль, коробку пастилы,
А может быть, улыбку.

ВЕЛОСИПЕДНЫЕ ПРОГУЛКИ

Велосипедные прогулки!
Шмели и пекло на проселке.
И солнце, яркое на втулке,
Подслеповатое — на елке.

И свист, и скрип, и скрежетанье
Из всех кустов, со всех травинок,
Колес приятное мельканье
И блеск от крылышек и спинок.

Какой высокий зной палящий!
Как этот полдень долго длится!
И свет, и мгла, и тени в чаще,
И даль, и не с кем поделиться.

Есть наслаждение дорогой
Еще в том смысле, самом узком,
Что связан с пылью, и морокой,
И каждым склоном, каждым спуском.

Кто с сатаной по переулку
Гулял в старинном переплете,
Велосипедную прогулку
Имел в виду иль что-то вроде.

Где время? Съехав на запястье,
На ремешке стоит постыдно.
Жара. А если это счастье,
То где конец ему? Не видно.

* * *

Не занимать нам новостей!
Их столько каждый день
Из городов и областей,
Из дальних деревень.

Они вмещаются едва
В газетные столбцы,
И собирает их Москва,
Где сходятся концы.

Есть прелесть в маленькой стране,
Где варят лучший сыр
И видит мельницу в окне
Недолгий пассажир.

За ней — кусты на полчаса
И город как бы вскользь,
Толпу и сразу — паруса,
И всю страну — насквозь.

Как будто смотришь диафильм,
Включив большой фонарь,
А новость — дождик, и бутыль,
И лодка, и почтарь.

Но нам среди больших пространств,
Где рядом день и мрак,
Волшебных этих постоянств
Не вынести б никак.

Когда по рельсам и полям
Несется снежный вихрь,
Под стать он нашим новостям.
И дышит вроде них.

* * *

Уехав, ты выбрал пространство,
Но время не хуже его.
Действительны оба лекарства:
Не вспомнить теперь ничего.
Наверное, мог бы остаться —
И был бы один результат.
Какие-то степи дымятся,
Какие-то тени летят.
Потом ты опомнишься: где ты?
Неважно. Допустим, Джанкой.
Вот видишь: две разные Леты,
А пить все равно из какой.

Е. К.

В Тарту, в темном ресторане,
В неудобный час дневной
Мы сидели, как в тумане,
Наслаждаясь тишиной.

За окном благополучный
Рисовался городок
С конференцией научной,
Проходящей под шумок.

Оттого ли, что не связан
Был никто из нас душой
С этим дубом, с этим вязом,
С этой улочкой чужой,—

Удивительную легкость
Мы испытывали вдруг,
И влюбленность, и неловкость,
И тревогу, и испуг.

Ощущалась неуместность
Тусклых ламп при свете дня,
И внимательная трезвость
Находила на меня.

Быть не может, чтоб так просто
Намечались в полумгле
Слава, дружба, чистый воздух,
Локоть друга на столе!

Обводил я быстрым взглядом
Окна, лица, край стола —
Но во всем, что было рядом,
Эта подлинность жила.

То веселый, то печальный
Разговор, дымок, питье,
Вплоть до скатерти крахмальной —
Неподдельно было все.

Над парком, весело шумящим,
Идущим к морю под уклон,
Высоким облачком блестящим
Мой взор угрюмый развлечен.

В краю причудливом, похожем
На кисть жеманного Ватто,
Оно все ярче и моложе
И не похоже ни на что.

И верно, нет такого кресла,
Такого стула иль стола,
Чтоб рядом с выдумкой небесной
В нем прихоть равная была.

И даже прелесть гнутых ножек
В Екатерининском дворце
Сравниться с облаком не может,
Лежащим тенью на лице.

НОЧНОЙ ДОЗОР

На рассвете тих и странен
Городской ночной дозор.
Хорошо! Никто не ранен.
И служебный близок двор.

Голубые тени башен.
Тяжесть ружей на плече.
Город виден и нестрашен.
Не такой, как при свече.

Мимо вывески сапожной,
Мимо старой каланчи,
Мимо шторы ненадежной,
Пропускающей лучи.

«Кто он, знахарь иль картежник,
Что не гасит ночью свет?»
«Капитан мой! То художник.
И клянусь, чуднее нет.

Никогда не знаешь сразу,
Что он выберет сейчас:
То ли окорок и вазу,
То ли дерево и нас.

Не поймешь по правде даже,
Рассмотрев со всех сторон,
То ли мы — ночная стража
В этих стенах, то ли он».

* * *

Л. Я. Гинзбург

Эти бешеные страсти
И взволнованные жесты —
Что-то вроде белой пасты,
Выжимаемой из жести.

Эта видимость замашек
И отсутствие расчета —
Что-то, в общем, вроде шашек
Дымовых у самолета.

И за словом, на два тона
Взятом выше,— смрад обмана,
Как за поступью дракона,
Напустившего тумана.

То есть нет того, чтоб руки
Опустить легко вдоль тела,
Нет, заламывают в муке,
Поднимают то и дело.

То есть так, удобства ради,
Прибегая к сильной страсти,
В этом дыме, в этом смраде
Ловят нас и рвут на части.

ГОФМАН

Одну минуточку, я что хотел спросить:
Легко ли Гофману три имени носить?
О, горевать и уставать за трех людей
Тому, кто Эрнст, и Теодор, и Амадей.
Эрнст — только винтик, канцелярии юрист,
Он за листом в суде марает новый лист,
Не рисовать, не сочинять ему, не петь —
В бюрократической машине той скрипеть.

Скрипеть, потеть, смягчать кому-то приговор.
Куда удачливее Эрнста Теодор.
Придя домой, преодолевая боль в плече,
Он пишет повести ночами при свече.
Он пишет повести, а сердцу все грустней.
Тогда приходит к Теодору Амадей,
Гость удивительный и самый дорогой.
Он, словно Моцарт, машет в воздухе рукой...

На Фридрихштрассе Гофман кофе пьет и ест.
«На Фридрихштрассе», — говорит тихонько Эрнст.
«Ах нет, направо!» — умоляет Теодор.
«Идем налево, — оба слышат, — и во двор».
Играет флейта еле-еле во дворе,
Как будто школьник водит пальцем в букваре.
«Но все равно она, — вздыхает Амадей, —
Судебных записей милей и повестей».

ДВА НАВОДНЕНЬЯ

Два наводнения, с разницей в сто лет,
Не проливают ли какой-то свет
На смысл всего?

Не так ли ночью темной
Стук в дверь не то, что стук двойной, условный.

Вставали волны так же до небес,
И ветер выл, и пена клочкотала,
С героя шляпа легкая слетала,
И он бежал волне наперерез.

Но в этот раз к безумью был готов,
Не проклинал, не плакал. Повторений
Боялись все. Как некий скорбный гений,
Уже носился в небе граф Хвостов.

Вольно же ветру волны гнать и дуть!
Но волновал сюжет Серапионов,
Им было не до волн — до патефонов,
Игравших вальс в Коломне где-нибудь.

Зато их внуков, мучая и длясь,
Совсем другая музыка смущала.
И с детства, помню, душу волновала
Двух наводнений видимая связь.

Похоже, дважды кто-то с фонаря
Заслонку снял, а в темном интервале
Бумаги жгли, на балах танцевали,
В Сибирь плелись и свергнули царя.

Вздымался вал, как схлынувший ^{точь-в-точь}
Сто лет назад, не зная отклонений.
Вот кто герой! Не Петр и не Евгений.
Но ветер. Но мрак. Но ветренная ночь.

МОНТЕНЬ

Монтень вокруг сиянье льет,
Сверкает череп бритый,
И, значит, вместе с ним живет
Тот брадобрей забытый.

Монтеня душат кружева
На сто второй странице —
И кружевница та жива,
И пальчик жив на спице.

И жив тот малый разбитной,
А с ним его занятие,
Тот недоучка, тот портной,
Расшивший шелком платье.

Едва Монтень раскроет рот,
Чтоб рассказать о чести,
Как вся компания пойдет
Болтать с Монтенем вместе.

Они судачат вкривь и вкось,
Они резвы, как дети.
О лжи. О снах. О дружбе врозь.
И обо всем на свете.

* * *

Никогда не наглядеться
На блестящее пятно,
Где за матерью с младенцем
Помещается окно.

В том окне мерцают реки,
Блещет роща не одна,
Бродят овцы и калеки,
За страной лежит страна.

Вьется узкая дорожка...
Так и мы писать должны,
Чтоб из яркого окошка
Были рощицы видны.

Чтоб соседствовали рядом
И мерцали заодно
Горы с диким виноградом —
И домашнее вино,

Тусклой комнаты убранство —
И далекий материк.
И сжимать, сжимать пространство,
Как пружину часовщик.

* * *

Я в плохо проветренном зале
На краешке стула сидел
И, к сердцу ладонь прижимая,
На яркую сцену глядел.

Там пели трехслойные хоры,
Квартет баянистов играл,
И лебедь под скорбные звуки
У рампы пять раз умирал.

Там пляску пускали за пляской,
Летела щепка из-под ног.
И я в перерыве с опаской
На круглый взглянул потолок.

Там был нарисован зеленый,
Весь в райских цветах, небосвод,
И ангелы, за руки взявшись,
Нестройный вели хоровод.

Ходили по кругу и пели.
И вид их решительный весь
Сказал мне, что ждут нас на небе
Концерты не хуже, чем здесь.

И, господи, как захотелось
На волю, на воздух, на свет,
Чтоб там не плясалось, не пелось,
А главное — музыки нет!

* * *

Танцует тот, кто не танцует,
Ножом по рюмочке стучит.
Гарцует тот, кто не гарцует,
С трибуны машет и кричит.

А кто танцует в самом деле
И кто гарцует на коне,
Тем эти пляски надоели,
А эти лошади — вдвойне!

* * *

По сравненью с приметами зим
Где-нибудь в октябре, ноябре,

Что заметны, как детский нажим
На письме, как мороз на заре.

Вы, приметы бессмертья души,
Еле-еле видны. Например,
Для кого так поля хороши,
И леса, и песчаный карьер?

Я спустился в глубокий овраг,
Чтоб не грохнуться — наискосок,
Там клубился сиреневый мрак
И стеной поднимался песок.

Был он красен, и желт, и лилов,
А еще — ослепительно бел.
«Ты готов?» Я шепнул: «Не готов».
И назад оглянуться не смел.

Не готов я к такой тишине!
Не к живым, а к следам от живых!
Не к родным облакам в вышине,
А к теням мимолетным от них!

Не готов я по кругу летать,
В этот воздух входить, как азот,
Белоснежные перья ронять,
Составная частичка высот.

Дай мне силы подняться наверх,
Разговором меня развлеки,
Пощади. Я еще не из тех,
Для кого этот блеск — пустяки.

* * *

У природы, заступницы всех,
Камни есть и есть облака;
Как детей, любя и этих и тех,
Тяжела — как те, как эти — легка.

Заморозить ей осенний поток —
Как лицом уткнувшись в стенку лежать.
Посадить ей мотылька на цветок —
Как рукой махнуть, плечами пожать.

Ей саму себя иначе не снести!
Упадет под страшной ношей, мой друг.
Но на каждый камень облако есть —
Я подумал, озираясь вокруг.

И еще подумал: как легка суть
Одуванчиков, ласточек, трав!
Лучше в горькую дудочку дуть,
Чем доказывать всем, что ты прав.

Лучше веточку зажать в губах,
Чем подыскивать точный ответ.
В нашей жизни, печалях, словах
Этой легкости — вот чего нет!

* * *

Бог с ней, с любовью, лишь бы снова
В саду тенистом и сыром,
Вблизи сверканья голубого
Нам очутиться вчетвером.

Тех недомолвок и оглядок
Припомнить смысл полупустой.
О повторись со мной, припадок
Смешной общительности той!

И ты, единственное средство
От всех печальных новостей,
Невы прохладное соседство,
Блесни опять из-за ветвей.

Я вижу долгой той прогулки
Чудной развалец и размах,
Две в платьях легкие фигурки
И две фигурки в пиджаках.

Как легок сад, и как он зелен
И свеж в углах своих сырых,
Когда он кажется поделен
Не на двоих — на четверых!

Он закружился с нами рядом
И, бедный, ходит ходуном

От этой путаницы взглядов
И разговоров вчетвером.

* * *

Октябрь. Среди полян и просек
Стоят туманы и дожди.
Уже взаимности не просит
Любовь, лишь прячется в груди.

И мы, спокойны и печальны,
В лесах гуляем, не слышны,
И наши маленькие тайны
Одной большой окружены.

* * *

Чего действительно хотелось,
Так это города во мгле,
Чтоб в небе облако вертелось
И тень кружилась по земле.

Чтоб смутно в воздухе неясном
Сад за решеткой зеленел
И лишь на здании прекрасном
Шпиль невысокий пламенел.

Чего действительно хотелось,
Так это зелени густой.
Чего действительно хотелось,
Так это площади пустой.

Горел огонь в окне высоком,
И было грустно оттого,
Что этот город был под боком
И лишь не верилось в него.

Ни в это призрачное небо,
Ни в эти тени на домах,
Ни в самого себя, нелепо
Домой идущего впотьмах.

И в силу многих обстоятельств
Любви, схватившейся с тоской,
Хотелось бóльших доказательств,
Чем те, что были под рукой.

НОЧНОЕ БЕГСТВО

Проснулся я. Какая сила
Меня с постели подняла?
В окне земля тревогу била
И листья поверху гнала.

Бежало все. Дубы дышали
В затылок шумным тополям.
Быстрее всех кусты бежали
По темным склонам и полям.

Отставив локти, выгнув спину,
Бежала сорная трава.
И низвергался лес в низину
С холмов, не падая едва.

Бежали грядки. Густ и плотен
Был бег соцветий и вьюнов.
Бежали тучи, как с полотен
Французских старых мастеров.

Почти как тонущие челны,
Вздымались утлые дома.
Бежали сумрачные волны
На них, бежала ночь сама.

Какой-то дуб, как бурный конник,
Из переулка тут как тут:
«А ты, вцепившись в подоконник,
Чего стоишь, когда бегут?»

И, запыхавшись, ночь дышала
Трудней усталого коня.
И, как безумная, бежала
Душа, отдельно от меня.

* * *

Но и в самом легком дне,
Самом тихом, незаметном,
Смерть, как зернышко на дне,
Светит блеском разноцветным.
В рощу, в поле, в свежий сад,
Злей хвоща и молочая,
Проникает острый яд,
Сердце тайно обжигая.

Словно кто-то за кустом,
За сараем, за буфетом
Держит перстень над вином
С монограммой и секретом.
Как черна его спина!
Как блестит на перстне солнце!
Но без этого зерна
Вкус не тот, вино не пьется.

* * *

Два лепета, быть может бормотанья,
Подслушал я, проснувшись, два дыханья.
Тяжелый куст под окнами дрожал,
И мальчик мой, раскрыв глаза, лежал.

Шли капли мимо, плакали на марше.
Был мальчик мал,
куст был намного старше.
Он опыт свой с неведением сличил
И первым звукам мальчика учил.

Он делал так: он вздрагивал ветвями
И гнал их вниз и стлался по земле.
А мальчик то же пробовал губами,
И выходило вроде «ле-ле-ле»

И «ля-ля-ля». Но им казалось: мало!
И куст старался, холодом дыша,

Поскольку между ними не вставала
Та тень, та блажь, по имени душа.

Я тихо встал, испытывая трепет,
Вспугнуть боясь и легкий детский лепет,
И лепетанье листьев под окном —
Их разговор на уровне одном.





ПРИМЕТЫ

1969

* * *

То, что мы зовем душой,
Что, как облако, воздушно
И блестит во тьме ночной
Своенравно, непослушно
Или вдруг, как самолет,
Тоньше колющей булавки,
Корректирует с высот
Нашу жизнь, внося поправки;

То, что с птицей наравне
В синем воздухе мелькает,
Не сгорает на огне,
Под дождем не размокает,
Без чего нельзя вздохнуть,
Ни глупца простить в обиде;
То, что мы должны вернуть,
Умирая, в лучшем виде,—

Это, верно, то и есть,
Для чего не жаль стараться,
Что и делает нам честь,
Если честно разобраться.
В самом деле хороша,
Бесконечно старомодна,
Тучка, ласточка, душа!
Я привязан, ты — свободна.

Свежеет к вечеру Нева
Под ярким светом
Рябит . тянется листва
За нею следом.

Посмотришь: рядом два коня
На свет, к заливу
Бегут, дистанцию храня,
Вздымая гриву.

Пока крадешься мимо них
Путем чудесным,
Подходит к горлу новый стих
С дыханьем тесным.

И этот прыгающий шаг
Стиха живого
Тебя смущает, как пиджак
С плеча чужого.

Известный, в сущности, наряд,
Чужая мета:
У Пастернака вроде взят,
А им — у Фета.

Но что-то сердцу говорит,
Что все — иначе.
Сам по себе твой тополь мчит
И волны скачут.

На всякий склад, что в жизни есть,
С любой походкой —
Всех вариантов пять иль шесть
Строки короткой.

Кто виноват: листва ли, ветер?
Невы волнение?
Иль тот, укрытый, кто так щедр
На совпадения?

* * *

Нет, не одно, а два лица,
Два смысла, два крыла у мира.
И не один, а два отца
Взывают к мести у Шекспира.

В Лаэрте Гамлет видит боль,
Как в перевернутом бинокле,
А если этот мальчик — моль,
Зачем глаза его намокли?

И те же складочки у рта,
И так же вещи дома жгутся.
Вокруг такая темнота,
Что невозможно повернуться.

Ты так касаешься плеча,
Что поворот вполоборота,
Как поворот в замке ключа,
Приводит в действие кого-то.

Отходит кто-то второпях,
Поспешно кто-то руку прячет,
И, оглянувшись, весь в слезах,
Ты видишь: рядом кто-то плачет.

* * *

Какая разница,
Чем мы развлечены:
Стихов нескладицей?
Невнятицей волны?

Снежком, нелепицей?
Или совсем, как встарь,
Стеклянной пепельницей,
Желтой, как янтарь?

Мерцаньем полнится
И тянется к лучам...
Имел я, помнится,
Внимание к вещам.

И критик шелковый
Обозначал мой крен:
Ларец с зашелками
И Жан Батист Шарден.

Все это схлынуло.
Стакан, графин с водой
Жизнь отодвинула
Как бы рукой одной.

Смахнула слезы с глаз,
Облокотясь на стол.
И разговор у нас
Совсем иной пошел.

* * *

При всем таланте и уме,
В библиотечной полутьме
Так и состаришься, друг милый,
А я на школьных сквозняках
Состарюсь, мел кроша в руках,
Втирая в доску что есть силы.

У века правильный расчет,
Он нас поглубже затолкнет,
Он знает: мы такого теста.
Туда, где ценятся слова,
Где не кружится голова,
И это, точно, наше место.

* * *

Среди знакомых ни одна
Не бросит в пламя денег пачку,
Не пошатнется, впад в горячку,
В дверях, бледнее полотна.
В концертный холод или сквер,
Разогреваясь понемногу,
Не пронесет, и слава богу,
Шестизарядный револьвер.

Я так и думал бы, что бред
Все эти тени роковые,
Когда б не туфельки шальные,
Не этот, издали, привет.
Разят дешевые духи,
Не хочет сдержанности мудрой,
Со щек стирает слезы с пудрой
И любит жуткие стихи.

РАЗГОВОР

Мне звонят, говорят: «Как живете?»
«Сын в детсаде. Жена на работе.
Вот сижу, завернувшись в халат.
Дум не думаю. Жду: позвонят.

А у вас что? Содом? Суматоха?»
«И у нас,— отвечает,— неплохо.
Муж уехал».— «Куда?» — «На восток.
Вот сижу, завернувшись в платок».

«Что-то нынче и вправду не топят.
Или топливо на зиму копят?
Ну и мрак среди белого дня!
Что-то нынче нашло на меня».

«И на нас,— отвечает,— находит.
То ли жизнь в самом деле проходит,
То ли что... Я б зашла... да потом
Будет плохо».— «Спасибо на том».

ЭТОТ ВЕЧЕР СВОБОДНЫЙ

Этот вечер свободный
Можно так провести:
За туманный Обводный
Невзначай забрести
Иль взойти беззаботней,

Чем гуляка ночной,
По податливым сходням
На кораблик речной.

В этот вечер свободный
Можно съезжиться, чтоб
Холодок мимолетный
По спине и озноб,
Ощутить это чудо,
Как вино винодел,
За того, кто отсюда
Раньше нас отлетел.

Наконец, этот вечер
Можно так провести:
За бутылкой, беспечно,
Одному, взаперти.
В благородной манере,
Как велел Корнуол,
Пить за здравие Мери,
Ставя кубок на стол.

* * *

Он встал в ленинградской квартире,
Расправив среди тишины
Шесть крыл, из которых четыре,
Я знаю, ему не нужны.

Вдруг сделалось пусто и звонко,
Как будто нам отперли зал.
— Смотри, ты разбудишь ребенка! —
Я чудному гостю сказал.

Вот если бы легкие ночи,
Веселость, здоровье детей...
Но кажется, нет средь пророчеств
Таких несерьезных статей.

Когда тот польский педагог,
В последний час не бросив сирот,
Шел в ад с детьми и новый Ирод
Торжествовать злодейство мог,
Где был любимый вами бог?
Или, как думает Бердяев,
Он самых слабых негодяев
Слабей, заоблачный дымок?

Так, тень среди других теней,
Чудак, великий неудачник.
Немецкий рыжий автоматчик
Его надежней и сильней,
А избиением детей
Полны библейские преданья,
Никто особого вниманья
Не обращал на них, ей-ей.

Но философии урок
Тоски моей не заглушает.
И отвращенье мне внушает
Нездешний этот холодок.
Один возможен был бы бог,
Идущий в газовые печи
С детьми, под зло подставив плечи,
Как старый польский педагог.

ПОКЛОНЕНИЕ ВОЛХВОВ

В одной из улочек Москвы,
Засыпанной метелью,
Мы наклонялись, как волхвы,
Над детской колыбелью.

И что-то, словно ореол,
Поблескивало тускло,
Покуда ставились на стол
Бутылки и закуска.

Мы озирали полумглу
И наклонялись снова.

Казалось, шурились в углу
Теленок и корова.

Как будто Гуго ван дер Гус
Нарисовал все это:
Волхвов, хозяйку с ниткой бус,
В дверях полоску света.

И вообще такой покой
На миг установился:
Не страшен Ирод никакой,
Когда бы он явился.

Весь ужас мира, испокон
Стоящий в отдаленье,
Как бы и впрямь заморожен,
Подался на мгновенье.

Под стать библейской старине
В ту ночь была Волхонка.
Снежок приветствовал в окне
Рождение ребенка.

Оно собрало нас сюда
Проулками, садами,
Сопровождаясь, как всегда,
Простыми чудесами.

* * *

Пусть кто-то в ней жизнь узнает,
Как сыщик, за ней примечает,
А музыка тем и живет,
Что нас к забвению приучает.

И стынешь, за кресло схватясь,
В тот час, как даруется ею
Не с этими залами связь,
А с будущей жизнью твоею.

Картин не рисует, не лги!
Знакомая, все незнакома —

Так мысли ее далеки
От женщин, и счастья, и дома.

О, вся забытье, благодать!
Укор для тоски и неверья.
И совестно к ней приплетать
Дороги, поля и деревья.

ДВА ГОЛОСА

Озирая потемки,
расправляя рукой
с узелками тесемки
на подушке сырой,
рядом с лампочкой синей
не засну в полутьме
на дорожной перине,
на казенном клейме.

— Ты, дорожные знаки
подносящий к плечу,
я сегодня во мраке,
как твой ангел, лечу.
К моему изголовью
подступают кусты.
Помоги мне! С любовью
не справляюсь, как ты.

— Не проси облегченья
от любви, не проси.
Согласись на мученье
и губу прикуси.
Бодрствуй с полночью вместе,
не мечтай разлюбить.
Я тебе на разъезде
посвечу, так и быть.

— Ты, фонарь подносящий,
как огонь к сургучу,
я над речкой и чащей,
как твой ангел, лечу.
Синий свет худосочный,
отраженный в окне,

вроде жилки височной,
не погасшей во мне.

— Не проси облегченья
от любви, его нет.
Поздней ночью — свеченье,
днем — сиянье и свет.
Что весной развлеченье,
тяжкий труд к декабрю.
Не проси облегченья
от любви, говорю.

В ПОЕЗДЕ

Не в силах мне помочь,
летя за мною следом,
пронизывая ночь
дождя холодным светом,
он плачет надо мной,
дымясь среди обочин,
и стекло ряд двойной,
как стеганка, прострочен.

Так плачет только он
в сырой ночи без края,
цепляясь за вагон,
с запинкой, призывая
на помощь небеса,
листая наш словарь,
и каждая слеза
как маленький фонарик.

Он плачет надо мной,
блестящий дождь глотая,
любовь мою бедой,
виной своей считая,
твердя: «Прости, не плачь», —
и сам в пылу внушенья,
как сердобольный врач,
нуждаясь в утешенье.

Он плачет потому,
что нет конца мученью,

что я кажусь ему
безжизненной тенью;
как с этой стороны
стекла, где ссохлась муха,
глаза мои темны,
в них холодно и сухо.

* * *

Жить в городе другом — как бы не жить.
При жизни смерть дана, зовется — расстоянье.
Не торопи меня. Мне некуда спешить.
Летит вагон во тьму. О, смерти нарастанье!

Какое мне письмо докажет: ты жива?
Мне кажется, что ты во мраке таешь, таешь.
Беспомощен привет, бессмысленны слова.
Тебя в разлуке нет, при встрече — оживаешь.

Гремят в промозглой мгле бетонные мосты.
О ком я так томлюсь, в тоске ломая спички?
Теперь любой пустяк действительней, чем ты:
На столике стакан, на летчике петлички.

На свете, где и так все держится едва,
На ниточке висит, цепляется, вот рухнет,—
Кто сделал, чтобы ты жива и нежива
Была, как тот огонь: то вспыхнет, то потухнет?

ПАМЯТИ АННЫ АХМАТОВОЙ

Волна темнее к ночи,
Уключина стучит.
Харон неразговорчив,
Но и она — молчит.

Обшивку руки гладят,
А взгляд, как в жизни, тверд.
Пред нею волны катят
Коцит и Ахеронт.

Давно такого груза
Не поднимал челнок.
Летает с криком муза,
А ей и невдомек.

Опять она нарядна,
Спокойна, молода.
Легка и чуть прохладна
Последняя беда.

Другую бы дорогу,
В Компьен или Париж...
Но этой, слава богу,
Ее не удивишь.

Свиданьем предстоящим
Взволнована чуть-чуть.
Но дышит грудь не чаще,
Чем в Царском где-нибудь.

Как всякий дух бесплотный
Очерчена штрихом,
Свой путь бесповоротный
Сверяет со стихом.

Плывет она в тумане
Средь чудищ, мимо скал
Такой, как Модильяни
Ее нарисовал.

* * *

Вижу, вижу спозаранку
Устремленные в Неву
И Обводный, и Фонтанку,
И похожую на склянку
Речку Кронверку во рву.

И каналов без уздечки
Вижу утреннюю прыть,
Их названья на дощечке,

И смертельной Черной речки
Ускользящую нить.

Слышу, слышу вздох неловкий,
Плач по жизни прожитой,
Вижу Екатерингофки
Блики, отблески, подковки,
Жирный отсвет нефтяной.

Вижу серого оттенка
Мойку, женщину и зонт,
Крюков, лезущий на стенку,
Пряжку, Карповку, Смоленку,
Стикс, Коцит и Ахеронт.

ВЕНЕЦИЯ

Венеция, когда ты так блестяшь,
Как будто я тебя и вправду вижу,
И дохлую в твоём канале мышь,
И статую, упрятанную в нишу,—

Мне кажется, во дворик захожу.
Свисает с галереи коврик. Лето.
Стоит монах. К второму этажу
С тряпьем веревку поднял Каналетто.

Нет, Тютчев это мне тебя напел,
Напел. Нет, это Блок тебя наваял.
Нет, это сам я фильм такой смотрел:
Француз вояж в Италию затеял.

Дурак француз, в двубортном пиджачке.
Плеск голубей. Собор Святого Марка.
О, как светло! Крутись на каблучке.
О, как светло, о, смилуйся, как ярко!

* * *

Четко вижу двенадцатый век.
Два-три моря да несколько рек.
Крикнешь здесь — там услышат твой
голос.

Так что ласточки в клюве могли
Занести, обогнав корабли,
В Корнуэльс из Ирландии волос.

А сейчас что за век, что за тьма!
Где письмо? Не дожидаться письма
Даром волны шумят, набегая.
Иль и впрямь европейский роман
Отменен, похоронен Тристан?
Или ласточек нет, дорогая?

* * *

В деревьях — ужас нежитья
И ветра шорох с краю,
Как чей-то крик: а как же я?
И чей-то вздох: не знаю.

Больших деревьев шум ночной,
Приливы и отливы!
Как бы затвержены листвою
Разлуки и разрывы.

Откаты с шумом и броски
За пять шагов на плечи.
За сотни лет ночной тоски
Заученные речи.

Не мы шумим — шумит листва,
Шумят сады ночные.
Какие горькие слова!
С песком, полусырые.

* * *

Крутить колесико бинокля
С утра весь день хотел бы я,
Чтоб видеть, как сирень намокла
Вблизи дороги и жилья.

Сверкают радужно ресницы
В двух линзах. Даль озарена.
И зоркость ранних флорентийцев
В сыром поселке мне дана.

Я вижу красный, золотистый,
Как сурик яркий край небес,
Асфальта блеск крупнозернистый,
И речку в зарослях, и лес.

И даже номер на машине
ЛИИ 12—50,
И те журналы, что в кабине
Багровым веером лежат.

А дальше вижу в гуще леса
Косынки желтой полотно.
Я никакого интереса
К себе не чувствую давно.

Когда когда-нибудь со мною,
Небытие, случисься въявь,
Сотри, смешай меня с землею,
Но зренье, зренье мне оставь!

СИРЕНЬ

Фиолетовой, белой, лиловой,
Ледяной, голубой, бестолковой
Перед взором предстанет сирень.
Летний полдень разбит на осколки,
Острых листьев блестят треуголки,
И, как облако, стелется тень.

Сколько свежести в ветви тяжелой,
Как стараются важные пчелы,
Допотопная блещет краса!
Но взглядишь в эти вспышки и блески:
Здесь уже побывал Кончаловский,
Трогал кисти и шурил глаза.

Тем сильнее у забора с канавкой
Восхищение наше, с поправкой
На тяжелый музейный букет,

Нависающий в желтой плетенке
Над столом, и две грозди в сторонке,
И от локтя на скатерти след.

СТОГ

Б. Я. Бухштабу

На стоге сена ночью южной
Лицом ко тверди я лежал...

Фет

Я к стогу сена подошел.
Он с виду ласковым казался.
Я боком встал, плечом повел,
Так он кололся и кусался.

Он горько пахнул и дышал,
Весь колыхался и дымился.
Не знаю, как на нем лежал
Тяжелый Фет? Не шевелился?

Ползли какие-то жучки
По рукавам и отворотам,
И запотевшие очки
Покрылись шелковым налетом.

Я гладил пыль, ласкал труху,
Я порывался в жизнь иную,
Но бога не было вверху,
Чтоб оправдать тщету земную.

И голый ужас, без одежд,
Сдавив, лишил меня движений.
Я падал в пропасть без надежд,
Без звезд и тайных утешений.

Ополоумев, облака
Летели, серые от страха.
Чесалась потная рука,
Прилипла мокрая рубаха.

И в целом стоге под рукой,
Хоть всей спиной к нему прижаться,
Соломки не было такой,
Чтоб, ухватившись, задержаться!

Я был в тот вечер вкрадчивою тенью,
Велосипед мой шел по вдохновенью,
Как умный конь послушен провиденью,
Когда забудет всадник про коня.
Крутились сами легкие педали,
Жуки над ухом с воем пролетали,
Но головы моей не задевали,
Как будто вовсе не было меня.

Я ехал так, как едут наудачу,
Решая в сердце старую задачу,
Что так сейчас примерно обозначу:
С кем по ночам так тихо говорю?
Кого ищу за блещущею мглою?
Иль говорю в бреду с самим собою,
И сам себя прошу и беспокою,
И сам себя в ночи благодарю?

Вдруг спохватился я и оглянулся,
Как будто спал и только что проснулся,
Как будто слуха моего коснулся
Зов хорошо упрятанной трубы:
В огромных дуплах, скрючены, раскосы,
Приняв кривые старческие позы,
Стояли в ряд могучие березы,
Все в два обхвата, дружно, как дубы.

В кровоподтеках, трещинах, увечьях,
В болячках старых, шрамах человечьих,
Почти ложась с обочины на встречных
Тяжелым грузом страшной красоты.
И если это дела не меняет,
Что ж душу жжет и счастье навевает,
О, что нас так в тоске переполняет
Среди обнявшей землю темноты?

* * *

Старинный с бронзою комод
О веке вычурном и странном
Нам представление дает.
В нутре огромном, деревянном
Набор объемов и пустот.
Жук-древоточец не живет
В его углах, убит дурманом.
Не грустно мне, наоборот!

Его хозяйку видит тот,
Кто различает за туманом
Веселый круг ее забот.
Откроет ящик и замрет...
Так ты сидишь над чемоданом,
А время быстрое идет...
Вот платье в блестках, вот с воланом.
Что выбрать нам? Что ей идет?

Мы видим плесени налет
На бронзе, страсть ее к румянам.
Таких же ящичков черед
В ее уме непостоянном.
Мы тоже кончимся. Так вот,
Боюсь, нас выдаст крупным планом
Сервант какой-нибудь с диваном,
Что минский делает завод.

* * *

Еще чего, гитара!
Засученный рукав.
Любезная отрава.
Засунь ее за шкаф.

Пускай на ней играет
Григорьев по ночам,
Как это подобает
Разгульным москвичам.

А мы стиху сухому
Привержены с тобой.

И с честью по-другому
Справляемся с бедой.

Дымок от папиросы
Да ветреный канал,
Чтоб злые наши слезы
Никто не увидал.

ВЕСНА

В саду еще стоит вода,
И зябнут руки без перчаток.
Прозрачный воздух свеж и сладок,
И синь везде и чернота.

Еще лепные облака
Выходят плохо у погоды.
Плывут какие-то уроды,
Посеребренные слегка.

Вдоль стекол Зимнего дворца,
То фиолетовых, то синих,
Мелькает тень на черных клиньях
Не то стрижа, не то скворца.

Не то какой-нибудь знаток
Старинной мебели горбатой
Вернулся птичкой вороватой,
А с ним — загробный холодок.

* * *

Жизнь чужую прожив до конца,
Умерев в девятнадцатом веке,
Смертный пот вытирая с лица,
Вижу мельницы, избы, телеги.

Биографии тем и сильны,
Что обнять позволяют за сутки
Двух любовниц, двух жен, две войны
И великую мысль в промежутке.

Пригождайся нам, опыт чужой,
Свет вечерний за полостью пыльной,
Тишина, пять-шесть строф за душой
И кусты по дороге из Вильны.

Даже беды великих людей
Дарят нас прибавлением жизни,
Звездным небом, рысцой лошадей
И вином, при его дешевизне.

* * *

Казалось бы, две тьмы,
В начале и в конце,
Стоят, чтоб жили мы
С тенями на лице.

Но не сравним густой
Мрак, свойственный гробам,
С той дружелюбной тьмой,
Предшествовавшей нам.

Я с легкостью смотрю
На снимок давних лет.
«Вот кресло,— говорю,—
Меня в нем только нет».

Но с ужасом гляжу
За черный тот предел,
Где кресло нахожу,
В котором я сидел.

* * *

На Мойке жил один старик.
Я представляю горы книг.
Он знал того, он знал другого.
Но все равно, не потому
Приятель звал меня к нему
Меж делом, бегло, бестолково.

А потому, что, по словам
Приятеля, обоим нам
Была бы в радость встреча эта.
— Вы б столкнувались в тот же миг:
Одна печаль, один язык
И тень забытого поэта!

Я собирался много раз,
Но дождь, дела и поздний час,
Я мрачен, он нерасположен.
И вот я слышу: умер он.
Визит мой точно отменен.
И кто мне скажет, что отложен?

* * *

Нам со спины изобразит
Художник девушку, но сбоку
Недаром зеркало висит:
В нем профиль виден, слава богу.

И даже более того,
Он в том же зеркале покажет
Еще счастливца, для кого
Она играет или вяжет.

Так точно, подперев щеку
Рукой, поэт, оставшись дома,
Вставляет зеркальце в строку
Для восполнения объема.

Диван, потрепанный на вид,
Плашмя в углу бутыль и шляпа,
И видно, как давно лежит
На всем тоски звериной лапа.

* * *

Зачем Ван Гог вихреобразный
Томит меня тоской неясной?
Как желт его автопортрет!
Перевязав больное ухо,

В зеленой куртке, как старуха,
Зачем глядит он мне вослед?

Зачем в кафе его полночном
Стоит лакей с лицом порочным?
Блестит бильярд без игроков?
Зачем тяжелый стул поставлен
Так, что навек покой отравлен,
Ждешь слез и стука башмаков?

Зачем он с ветром в крону дует?
Зачем он доктора рисует
С нелепой веточкой в руке?
Куда в косом его пейзаже
Без седока и без поклажи
Спешит коляска налегке?

ПУТЕШЕСТВИЕ

Что-то мне волны лазурные снятся,
Катятся, ластятся, жмутся, теснятся,
Мчатся назад и в обход.
Нет, не привычное Черное море,
А миражи в незнакомом просторе,
Белый, как соль, пароход.

Плыть? Но куда? На огней вереницу.
В Геную, Падую, Специю, Ниццу.
Что там, не видно ль земли?
Странно: в глаза не глядят мне матросы.
Крепко натянуты мощные тросы.
Нет, не Везувий вдали.

Припоминаю, что был уже случай.
Мне отвечают: «Себя ты не мучай,
Детские страхи откинь».
Нет, не в Италии мы и не в Польше.
Что-то мне это не нравится больше:
Гладь не такая и синь.

Так Баратынский с его пироскафом
Думал увидеть, как мячик за шкафом,
Влажный Элизий земной,
Башни Ливурны, а ждал его тесный

Ящик дубовый, Элизий небесный,
Серый кладбищенский зной.

* * *

Читая шинельную оду
О свойствах огромной страны,
Меняющей быт и погоду
Раз сто до китайской стены,
Представил я реки, речушки,
Пустыни и Берингов лед —
Все то, что зовется: от Кушки
До Карских студеных Ворот.

Как много от слова до слова
Пространства, тоски и судьбы!
Как ветра и снега от Львова
До Обской холодной губы.
Так вот что стоит за плечами
И дышит с тобой заодно,
Когда ледяными ночами
Не спится и смотришь в окно.

Большая удача — родиться
В такой беспримерной стране.
Воистину есть чем гордиться,
Вперяясь в просторы в окне.
Но силы нужны и отвага
Сидеть под таким сквозняком!
И вся-то защита — бумага
Да лампа над тесным столом.

ПРИМЕТЫ

Еще клубился полумрак,
Шли складки по белью,
Был рай обставлен кое-как,
Похож на жизнь мою.

Был стул с одеждой под рукой,
Дрожала ветвь в окне,
И кто-то розовой щекой
В плечо уткнулся мне.

Немного их, струящих свет
На мировом ветру
Опознавательных примет
Твоей судьбы в миру!

Но все — стола потертый лак
И стула черный сук —
Шептало мне: не нужно так
Отчаиваться, друг.

Не потому, что есть намек
Иль тайный знак уму,
А так, всем смыслам поперек.
Никак, нипочему.

* * *

В саду ли, в сыром перелеске,
На улице, гулкой, как жесть,
Нетрудно, в сиянье и блеске,
Казаться печальней, чем есть.
И, в сторону глядя, в два счета,
У тусклого стоя пруда,
Пленить незаметно кого-то
Трагической складкой у рта.

Так действует эта морщинка!
Но с возрастом как-то ясней
Ты видишь: не стоит овчинка
Той выделки хитрой, бог с ней!
Все чаще с растерянным, жарким
И незащищенным лицом
Стоишь перед светлым подарком:
Опушкой, парком, дворцом.

* * *

Вот сижу на шатком стуле
В тесной комнате моей,
Пью вино напареули,
Что осталось от гостей.

Мы печальны — что причиной?
Нас не любят — кто так строг?
Всей спиною за гардиной
Белый чувствую снежок.

На подходе зимний праздник,
Хвоя, вата, серпантин.
С каждым годом все прекрасней
Снег и запах легких вин.

И любовь от повторенья
Не тускнеет, просто в ней
Больше знанья, и терпенья,
И немислимых вещей.

* * *

Когда ты в Павловском дворце
Искала в зеркале барочном,
Роскошном, царственном, порочном,
Себя — как в тусклом озере
Иль где-нибудь в пруде полночном, —
Рябь набегала, и в конце
Той залы нам с лицом отечным
Являлась фурия в чепце.

Потом зеркальная вода
Светлела. В ней не без труда
Всплывала ты, с песком проточным
И пузырьками пополам.
Но долго жизнь казалась нам
Туманным делом и непрочным!

* * *

И если в ад я попаду,
Есть наказание в аду
И для меня: не лед, не пламя!
Мгновенья те, когда я мог
Рискнуть, но стыл и тер висок,
Опять пройдут перед глазами.

Все счастье, сколько упустил,
В саду, в лесу и у перил,
В пути, в гостях и темном море...
Есть казнь в аду таким, как я:
То рай прошедшего житья,
Тоска о смертном недоборе.

* * *

Еще печаль легка, легка.
Еще к руке прикосновенье
Случайно празднует рука,
Таясь с перчаткой в отдаленье.

Еще готова сделать вид
Душа, что ей милей прохлада,
Чем жар, что весело следит
За блеском облака и сада.

Еще нуждается в кивке
И в поощрительной улыбке
Отвага, с трепетом в руке
И ощущением ошибки.

Еще любовь не обрела
Тех косных форм, что напоследок
Приобретает, и светла,
И к сердцу льнет и так и этак.

* * *

Ни вину, ни письму,
Ни друзьям с новосельем,
Никому, ничему
Не обязан весельем.

Тем приятней оно,
Тем сильнее в его власти.
Ни письмо, ни вино
Не замешаны в счастье.

Раньше чей-то звонок,
Или доброе слово,
Или женский намек
На возможность иного —

И качнулось, пошло,
Закружилось, готово!
А теперь хорошо:
Ни того, ни другого.

А теперь ветерка
Холодок над Невую
Да блеснут облака
Над моей головою.

Взгляд от них не отвести.
И подумаешь снова,
Что веселье и есть
Наша суть и основа.

* * *

Друг, наудачу
рифму твержу,
взгляда не прячу,
прямо гляжу.

Далей не вижу,
вижу, как все,
дерево, крышу,
дождь на шоссе.

Видишь ли, осень
вроде лото:
может быть, восемь,
может быть, сто.

Может быть, почта.
Может быть, друг.
Может быть, то, что
выпадет вдруг.

Кто нам помашет?
Кто позвонит?
Кто нам расскажет,
что нам грозит?

Мне и стихи-то
дороги тем,
что не раскрыто
все в них и всем,

что через строчку
можно попасть
в Суйду, в Опочку,
в летнюю часть.

Может быть, тем и
жизнь хороша,
что не система
в ней, а душа.

Нынче придавит,
завтра прильнет,
а послезавтра
к сердцу прижмет.

* * *

Скатерть, радость, благодать!
За обедом с проволочкой
Под столом люблю сгибать
Край ее с машинной строчкой.

Боже мой! Еще живу!
Все могу еще потрогать

И каемку, и канву,
И на стол поставить локоть!

Угол скатерти в горсти.
Даже если это слабость,
О бессмыслица, блести!
Не кончайся, скатерть, радость!





ПИСЬМО

1974

* * *

Эти вечные счета, расчеты, долги
И подсчеты, подсчеты.
Испещренные цифрами черновики.
Наши гении, мученики, должники.
Рифмы, рядом — расходы.

То ли в карты играл? То ли в долг занимал?
Было пасмурно, осень.
Век железный — зато и презренный металл.
Или рошу сажал и считал, и считал,
Сколько высадил елей и сосен?

Эта жизнь так нелепо и быстро течет!
Покажи, от чего начинать нам отсчет,
Чтоб не сделать ошибки?
Стих от прозы не бегаёт, наоборот!
Свет осенний и зыбкий.

Под высокими окнами, бурей гоним,
Мчится клен, и высоко взлетают над ним
Медных листьев тройчатки.
К этим сотням и тысячам круглым твоим
Приплюсуем десятки.

Снова дикая кошка бежит по пятам,
Приближается время платить по счетам,
Все страшней ее взгляды:
Забегаёт вперед, прижимает к кустам —
И не будет пощады.

Все равно эта жизнь и в конце хороша,
И в долгах, и в слезах, потому что свежа!
И послушная рифма,
Выбегая на зов, и легка, как душа,
И точна, точно цифра!

* * *

Снег подлетает к ночному окну,
Вьюга дымится.
Как мы с тобой угадали страну,
Где нам родиться!

Вьюжная. Ватная. Снежная вся.
Давит на плечи.
Но и представить другую нельзя
Шубу, полегче.

Гоголь из Рима нам пишет письмо,
Как виноватый.
Бритвой почтовое смотрит клеймо
Продолговатой.

Но и представить другое нельзя
Поле, поуже.
Доблести, подлости, горе, семья,
Зимы и дружбы.

И англичанин, что к нам заходил,
Строгий, как выпел,
Не понимал ничего, говорил
Глупости, выпив.

Как на дитя, мы тогда на него
С грустью смотрели.
И доставали плеча твоего
Крылья метели.

* * *

У меня зазвонил телефон.
То не слон говорил. Что за стон!
Что за буря и плач! И гудки!
И щелчки, и звонки. Что за тон!

Я сказал: «Ничего не слышать».
И в ответ застонало опять,
Загудело опять, и едва
Долетали до слуха слова:

«Вам звонят из Уфы». — Перерыв.
«Плохо слышно, увы». — Перерыв.
«Все архивы Уфы перерыв,
Не нашли мы, а вы?» — Перерыв.

«Все труды таковы, — говорю. —
С кем, простите, сейчас говорю?»
«Нет, простите, с кем мы говорим?
В прошлый раз говорили с другим!»

Кто-то в черную трубку дышал.
Зимний ветер ему подвывал.
Словно зверь, притаясь, выжидал.
Я нажал рычажок — он пропал.

ХОД ЖИЗНИ

Непоправима, невозвратна,
Неуловима, однократна,
Неумолима и томима
Тоской о прошлом, непонятна.

Обиды жгут неизгладимо
И несмываемые пятна.

Почти уже невыносима,
Идет к концу невозмутимо,
Как ровный почерк без нажима,
Неотвратимо, безоглядно.

Никто не выгребет обратно!
Ветрами темными гонима.

В лицо огромное, без грима,
Прощаясь, всматриваюсь жадно.

Необозрима и громадна,
Каким заступником хранима?
Как стих безумный одержима,
Неутолима! Невероятна!

* * *

В отделе оптики в аптеке
С полубезумным алфавитом,
Родящим мысли в человеке
О чем-то важном, но забытом,
Намек таится на возможность
Прочсть все книги по-другому,
Хотя к чему нам эта сложность
И прибавление к объему?

Как будто мы в бинокль взглянули
С увеличением многократным
И вдруг его перевернули
С пренебреженьем непонятым.
Какой роман такое чтение
Способен выдержать — не знаю,—
Такой фавор и отдаленье?
Я как про Миниха читаю.

Мне что-нибудь про нас с тобою,
Но не написано об этом.
Уже глядящее судьбою,
Еще не ставшее сюжетом.
Любовь, бессонница, аптека.
Чем старше я, тем нереальней.
Как будто вывернуто веко.
И все печальней, все печальней...

СОН

Я ли свой не знаю город?
Дождь пошел. Я поднял ворот.
Сел в трамвай полупустой.
От дороги Турухтанной

По Кронштадтской... вид туманный...
Стачек, Трефолева... стой!

Как по плоскости наклонной,
Мимо темной Оборонной.
Все смешалось... не понять...
Вдруг трамвай свернул куда-то,
Мост, канал, большого сада
Темень, мост, канал опять.

Ничего не понимаю!
Слева тучу обгоняю,
Справа в тень ее вхожу,
Вижу пасмурную воду,
Зелень, темную с исподу,
Возвращаюсь и кружу.

Чья ловушка и причуда?
Мне не выбраться отсюда!
Где Фонтанка? Где Нева?
Если это чья-то шутка,
Почему мне стало жутко
И слабеет голова?

Этот сад меня пугает,
Этот мост не так мелькает,
И вода не так бежит,
И трамвайный бег бесстрастный
Приобрел уклон опасный,
И рука моя дрожит.

Вид у нас какой-то сырый.
Где другие пассажиры?
Было ж несколько старух!
Никого в трамвае нету.
Мы похожи на комету,
И вожатый слеп и глух.

Вровень с нами мчатся рядом
Все, кому мы были рады
В прежней жизни дорогой.
Блещут слезы их живые,
Словно капли дождевые.
Плачут, машут нам рукой.

Им не видно за дождями,
Сколько встало между нами
Улиц, улочек и рек.
Так привозят в парк трамвайный
Не заснувшего случайно,
А уснувшего навек.

* * *

Покров любви, расписанный цветами,
Полуночными тайными дарами,
Сплетенье рук, переплетенье снов.
И славы в складках бархатный покров,
До старости висящий перед нами.
И дальних странствий, пышных облаков,
С уступами, зубцами, завитками,
Подобие персидских тех ковров.
Театра отсыревшее сукно,
Его великолепные разводы.
И живописи жесткой полотно.
Живые декорации природы,
Все эти многодумные дубы
И ярко нарисованные воды.
Завеса скрипки, пелена трубы.
И полог слез, и занавес вокзала.
Накидки, шторы, створки, покрывала,—
Сквозь них, сквозь них! Среди складок их и швов
Еще один, последний есть покров,
Плотнее всех... Его нам не хватало!

* * *

Кто-то плачет всю ночь.
Кто-то плачет у нас за стеною.
Я и рад бы помочь —
Не пошлет тот, кто плачет, за мною.

Вот затих. Вот опять.
«Спи,— ты мне говоришь,— показалось».
Надо спать, надо спать.
Если б сердце во тьме не сжималось!

Разве плачут в наш век?
Где ты слышал, чтоб кто-нибудь плакал?
Суше не было век.
Под бесслёзным мы выросли флагом.

Только дети — и те,
Услыхав: «Как не стыдно?» — смолкают.
Так лежим в темноте.
Лишь часы на столе подтекают.

Кто-то плачет вблизи.
«Спи,— ты мне говоришь,— я не слышу».
У кого ни спроси —
Это дождь задевает за крышу.

Вот затих. Вот опять.
Словно глубже беду свою прячет.
А начну засыпать —
«Подожди,— говоришь,— кто-то плачет!»

* * *

Человек привыкает
Ко всему, ко всему.
Что ни год получает
По письму, по письму.

Это в белом конверте
Ему пишет зима.
Обещанье бессмертья —
Содержанье письма.

Как красив ее почерк!
Не сказать никому.
Он читает листочек
И не верит ему.

Зимним холодом дышит
У реки, у пруда.
И в ответ ей не пишет
Никогда, никогда.

Конверт какой-то странный, странный,
Как будто даже самодельный,
И штемпель смазанный, туманный,
С пометкой давности недельной,
И марка странная, пустая,
Размытый образ захолустья:
Ни президента Уругвая,
Ни Темзы,— так, какой-то кустик.

И буква к букве так теснятся,
Что почерк явно засекречен.
Внизу, как можно догадаться,
Обратный адрес не помечен.
Тихонько рву конверт по краю
И на листе бумаги плотном
С трудом по-русски разбираю
Слова в смятенъе безотчетном.

«Мы здесь собрались кругом тесным
Тебя заверить в знак вниманья
В размытом нашем, повсеместном,
Ослабленном существованье.
Когда ночами (бред какой-то!)
Воюет ветер с темным садом,
О всех не скажем, но с тобой-то,
Молчи, не вздрагивай, мы рядом.

Не спи же, взглядывайся зорче,
Нас различай поодиночке».
И дальше почерк неразборчив,
Я пропускаю две-три строчки.
«Прощай! Чернила наши блеклы,
А почта наша ненадежна,
И так в саду листва намокла,
Что шага сделать невозможно».

ЛАВР

Не помнит лавр вечнозеленый,
Что Дафной был, и бог влюбленный
Его преследовал тогда;

К его листве остроконечной
Подносит руку первый встречный
И мнет, не ведая стыда.

Не помнит лавр вечнозеленый,
И ты не помнишь, утомленный
Путем в Батум из Кобулет,
Что кустик этот глянцевитый,
Цветами желтыми увитый,
Еще Овидием воспет.

Выходит дождик из тумана,
Несет дымком из ресторана,
И Гоги в белом пиджаке
Не помнит, сдал с десятки сдачу
Иль нет... а лавр в окне маячит...
А сдача — вот она, в руке.

Какая долгая разлука!
И блекнет память, и подруга
Забыла друга своего,
И ветвь безжизненно упала,
И море плещется устало,
Никто не помнит ничего.

* * *

Никак не вспомнить было, где
Живет: в Вилюйске, Воркуте,
Чите, Ухте, Караганде,
Тобольске или Томске,
Не то в саманной Кзыл-орде,
Не то в туманной Кулунде,
Быть может, в Орске, в духоте,
А может быть, и в Омске.

Я все твержу: Балхаш, Баймак,
Барабинск, Бийск. А что? Да так!
Томлюсь, как будто жмет башмак.
Среди мордвы? Чувашей?
Илим, Ишим, Витим, Нарым,

Как будто я сквозь тьму и дым
В сплошном снегу иду за ним,
Ища конверт пропавший.

ОТКАЗ ОТ ПОЭМЫ

Вот вы не пишете поэмы.
Что ж, подходящей нету темы?
Иль ваши мысли вне системы
Живут вразброд, как муравьи?
— Да, из меня плохой затейник.
Могу собрать свой муравейник.
Но остывают, как кофейник,
Благие замыслы мои.

Однажды я пришел к поэту,
Ее давно меж нами нету,
Я записал потом беседу.
Она спросила, например:
— Что важно выбрать для поэмы,
Помимо смысла, кроме темы,
Что кое-как умеем все мы? —
И важно молвила: — Размер!

Чтоб не боялся он простора,
Чтоб не наскучил слишком скоро,
Подобье мощного мотора
Иль махового колеса.
И я кивал и соглашался,
И мне казалось, поезд мчался,
И рассмотреть я собирался
Во мраке роши и леса.

В вагонном узком коридоре
Герой мой, как в ночном дозоре,
Смотрел в окно, и в хвойном море
Дым, как дракон, белел, зловещ.
Но видел я спустя мгновенье,
Что мне звучанья и движенья
Не хватит на стихотворенье,
Не то что на большую вещь.

К тому же ритма перебои.
В поэме может быть любое:
Стоял один, а стало двое.
Но стыдно открывать в купе
Дверь, чтобы вдруг подстроить встречу.
Я сам себе противоречу.
Пройду, как будто не замечу,
Назло сюжету и судьбе.

Пройду и дверь прикрою плотно.
Пускай широкие полотна
Без нас рисует кто угодно.
Гигантомания — в чести!
Новейший Байрон любит эпос.
Подстрочник выглядит как ребус.
Мы взять беремся эту крепость,
Но как нам дух перевести?

А наш герой глядит спокойно.
И мы ведем себя достойно.
Ему печально или больно,—
Зачем поэмы сочинять,
Вести себя высокопарно?
Сошлемся на старенье жанра.
Все это так элементарно:
Он грустен? — лучше помолчать.

Читатель, где-то в отдаленье
Живущий! Есть такое мнение:
Кратчайший путь — стихотворенье
Меж нами. Линий прямота
Уничтожает расстоянье
И дарит мне твое вниманье.
Как дико ветра завыванье,
Как жутко воют поезда!

Ночь за окном синее смутно.
Должно быть, время наше трудно.
Но думать было бы абсурдно,
Чтоб были легче времена.
А хоть и были, мы — не дети,
И мы рассчитаны — на эти,
Не мы, тогда никто на свете
Их не снесет. О, ночь без сна!

Не любящим нас так не жить
 Прекрасно и трудно.
 Их жаль, их нельзя не любить
 Всю жизнь, безрассудно.
 Не надо от них ничего
 В ночах безответных.
 Разлюбим их — о, на кого
 Оставим их, бедных!

* * *

Ну прощай, прощай до завтра,
 Послезавтра, до зимы.
 Ну прощай, прощай до марта.
 Зиму порознь встретим мы.

Порознь встретим и проводим.
 Ну прощай до лучших дней.
 До весны. Глаза отводим.
 До весны. Еще поздней.

Ну прощай, прощай до лета.
 Что ж перчатку теревить?
 Ну прощай до как-то, где-то,
 До когда-то, может быть.

Что ж тянуть, стоять в передней.
 Да и можно ль быть точней?
 До черты прощай последней,
 До смертельной. И за ней.

* * *

В отчаянье горьком прильнуть
 К подушке горячей щекою,
 Во сне потерять что-нибудь
 И утром найти под рукою.

Вот шляпа. Как долго во сне
Тащило ее по панели
И ветром пригнало ко мне,
Когда я проснулся, к постели.

Как мчалась, в пыли не видна!
Как горько томила пропажа!
Как странно! Зачем мне она?
Теперь не придумаю даже.

Любовь моя, как я бежал,
Под ветром клонился и гнулся,
Когда я тебя потерял!
Пока на бегу не проснулся.

И трудно поверить в ночной
Порыв, и побег, и мороку,
Когда б не листочек сухой,
За ленту забившийся сбоку.

* * *

Я к ночным облакам за окном присмотрюсь,
Отодвинув суровую штору.
Был я счастлив — и смерти боялся. Боюсь
И сейчас, но не так, как в ту пору.

Умереть — это значит шуметь на ветру
Вместе с кленом, глядящим понуро.
Умереть — это значит попасть ко двору
То ли Ричарда, то ли Артура.

Умереть — расколоть самый твердый орех,
Все причины узнать и мотивы.
Умереть — это стать современником всех,
Кроме тех, кто пока еще живы.

* * *

Расположение вещей
На плоскости стола,
И преломление лучей,
И синий лед стекла.

Сюда — цветы, тюльпан и мак,
Бокал с вином — туда.
«Скажи, ты счастлив?» — «Нет». — «А так?»
«Почти». — «А так?» — «О да!»

* * *

Потрясенная, видит душа
Бескорыстно и ясно:
На поверхности жизнь хороша,
Втайне — вовсе прекрасна.

Потому, может быть, и одна.
И волнует так сцена.
А иначе бы грош ей цена!
И тебе, Мельпомена!

Потому и трагична, что в ней,
Кроме смерти и горя,
Есть и хищный узор скатертей,
И дыхание моря.

Словно в узкие прорези глаз
Той трагической маски
Смотрят синие волны на нас
И Матиссовы краски.

* * *

Г. С. Семенову

Почему бы в столе, где хранят
Авторучки, очки, сигареты,
Бланки, склянки, с орлами монеты,
Телеграммы, лет десять назад
Нас нашедшие, марки, билеты,

Почему бы в столе, где с ключом
От давно заколоченной двери
Притаился конверт с сургучом,

Почему бы в столе, где булавки,
Бритвы, бирки и старые справки
Образуют тот хаос второй,

Что сумел сам собой накопиться
И растет, и шуршит под рукой,
И, как первый, уже шевелится,—

Почему бы в столе завестись
Не сумели по собственной воле
То ли в тюбике яд, берегись,
То ли флейта волшебная, что ли?

* * *

Пришла ко мне гостя лихая,
Как дождь, зарядивший с утра.
Спросил ее: — Кто ты такая?
Она отвечает: — Хандра.

— Послушай, в тебя я не верю.
— Ты Пушкина плохо читал.
— Ты веком ошиблась и дверью.
Я, видимо, просто устал.

— Все так говорят, что устали,
Пока привыкают ко мне.
Я вместо любви и печали,
Как дождь, зарядивший в окне.

О, хмурое, злое соседство...
Уеду, усну, увильну...
Ведь есть же какое-то средство.
Она отвечает: — Ну-ну!

* * *

Какое счастье, благодать
Ложиться, укрываться,
С тобою рядом засыпать,
С тобою просыпаться!

Пока мы спали, ты и я,
В саду листва шумела
И с неба темные края
Сверкали то и дело.

Пока мы спали, у стола
Чудак с дремотой спорил,

Но спал я, спал, и ты спала,
И сон всех ямбов стоил.

Мы спали, спали... Наравне
С любовью и бессмертьем
Давалось даром то во сне,
Что днем — сплошным усердьем.

Мы спали, спали, вопреки,
Наперекор, вникали
В узоры сна и завитки,
В детали, просто спали.

Всю ночь. Прильнув к щеке щекой.
С доверчивостью птичьей.
И в незащитности такой
Сходило к нам величье.

Всю ночь в наш сон ломился гром,
Всю ночь он ждал ответа:
Какое счастье — сон вдвоем,
Кто нам позволил это?

НОЧНОЙ ПАРАД

Я смотр назначаю вещам и понятиям,
Друзьям и подругам, их лицам и платьям,
Ладонь прижимая к глазам,
Плащу, и перчаткам, и шляпе в передней,
Прохладной и бодрой бессоннице летней,
Чужим голосам.

Я смотр назначаю гостям перелетным,
Пернатым и перистым, в небе холодном,
И всем кораблям на Неве.
Буксир, как Орфей, и блестят на нем блики,
Две баржи за ним, словно две Эвридики.
Зачем ему две?

Приятелей давних спешит вереница:
Кто к полке подходит, кто в кресло садится,
И умерший дверь отворил,
Его ненадолго сюда отпустили,
Неправда, не мы его вовсе забыли,
А он нас — забыл!

Проходят сады, как войска на параде,
Веселые, в летнем зеленом наряде,
И тополь, и дуб-молодец,
Кленовый листок, задевающий темя,
Любимый роман, возвращающий время,
Елагин дворец.

И музыка, музыка, та, за которой
Не стыдно заплакать, как в детстве за шторой,
Берется меня утешать.
Проходит ремонтный завод с корпусами,
Проходит строка у меня пред глазами —
Лишь сесть записать.

Купавок в стакане букетик цыплячий,
Жена моя с сыном на вырицкой даче,
Оставленный ею браслет,
Последняя часть неотложной работы,
Ночной ветерок, ощущение свободы,
Не много ли? Нет.

Кому объяснить, для чего на примете
Держу и вино, и сучок на паркетке,
И зыбкую невскую прыть,
Какую тоску, шелестящую рядом,
Я призрачным этим полночным парадом
Хочу заслонить?

* * *

Уходит лето. Ветер дует так,
Что кажется, не лето — жизнь уходит,
И ежится, и ускоряет шаг,
И плечиком от холода поводит.

По пням, по кочкам, прямо по воде.
Ей зимние не по душе заботы.
Где дом ее? Ах, боже мой, везде!
Особенно, где синь и пароходы.

Уходит свет. Уходит жизнь сама.
Прислушайся в ночи: любовь уходит,
Оставив осень в качестве письма,
Где доводы последние приводит.

Уходит муза. С кленов, с тополей
Летит листва, летят ей вслед стрекозы.
И женщины уходят все быстрее,
Почти бегом, опережая слезы.

* * *

О слава, ты так же прошла за дождями,
Как западный фильм, не увиденный нами,
Как в парк повернувший последний трамвай,—
Уже и не надо. Не стоит. Прощай!

Сломалась в дороге твоя колесница,
На юг улетела последняя птица,
Последний ушел из Невы теплоход.
Я вышел на Мойку: зима настанет.

Нас больше не мучит желание славы,
Другие у нас представленья и нравы,
И милая спит, и в ночной тишине
Пусть ей не мешает молва обо мне.

Снежок выпадает на город туманный.
Замерз на афише концерт фортепьянный.
Пружины дверной глуховатый щелчок.
Последняя рифма стучится в висок.

Простимся без слов, односложно и сухо.
И музыка медленно выйдет из слуха,
Как после купанья вода из ушей,
Как маленький, теплый, щекотный ручей.

* * *

Потому и порядок такой на столе,
Чтобы оползень жизни сдержать.
Так сажают кустарник на слабой земле
И воют за каждую пядь.

Я к друзьям загляну — и у них, и у них
Те же трещины, та же борьба.

Хорошо иногда подсмотреть у других
То, что общая дарит судьба.

На изрытую землю похож черновик.
Дальше некуда нам отступить.
Перечеркнута жизнь сгоряча напрямик
И написана сверху опять.

Не в любви обманувшей, не в парковой мгле,
Не в удаче, латающей брешь,—
Здесь, под лампой настольной, на тесном столе
Твой последний плацдарм и рубеж.

* * *

В петропавловском холоде снятся Петру
Крепостные уступы,
Ленинградских красавиц на зимнем ветру
Посиневшие губы.

Профиль женщины жесткий; высокая бровь
В сером инее колком.
Потому и не станет утехой любовь,
А вопьется осколком.

И улыбки малиновой нам не видать.
Вместо нежной улыбки —
Что-то вроде усмешки, и совестно врать,
И сознание ошибки.

Уж как много воды в потемневшей Неве,
И еще поступает.
Этот вздох в неопавшей железной листе,
Тяжелей не бывает.

И о чем разговор? О последней статье
В философском издании:
Архетипе и мифе, и нашем житье,
И его пониманье.

Повторяется все: устремленья и сны,
И рычанье чудовищ.

А по-моему, лишь элемент новизны
Интересен и стоящ!

Вьется снег, словно вяжет платок в забытьи,
В равномерном мельканье
Норовя завязать разговор о шитье,
О шитье и вязапье.

И безумный над бездной застыл истукан,
Связью связанный жуткой
С серебристой цистерной, везущей метан,
И искусственной шубкой.

ВМЕСТО СТАТЬИ О ВЯЗЕМСКОМ

Я написать о Вяземском хотел,
Как мрачно исподлобья он глядел,
Точнее, о его последнем цикле.
Он жить устал, он прозябать хотел.
Друзья уснули, он осиротел:
Те умерли вдали, а те погибли.

С утра надев свой клетчатый халат,
Сидел он в кресле, рифмы невпопад
Дразнить его под занавес являлись.
Он видел: смерть откладывает срок.
Вздыхал над ним злопамятливый бог,
И музы, приходя, его боялись.

Я написать о Вяземском хотел,
О том, как в старом кресле он сидел,
Без сил, задув свечу, на пару с нею.
Какие тени в складках залегли,
Каким поэтом мы пренебрегли,
Забыв его, но чувствую: мрачною.

В стихах своих он сам к себе жесток,
Сочувствия не ищет, как листок,
Что корчится под снегом, леденя.
Я написать о Вяземском хотел,
Еще не начал, тут же охладел
Не к Вяземскому, а к самой затее.

Он сам себе забвенья предсказал,
И кажется, что зла себе желал
И медленно сживал себя со свету
В такую тьму, где слова не прочесть.
И шепчет мне: оставим все как есть.
Оставим все как есть: как будто нету.

ПОЙДЕМ ЖЕ ВДОЛЬ МОЙКИ,
ВДОЛЬ МОЙКИ...

Пойдем же вдоль Мойки, вдоль Мойки,
У стриженных лип на виду,
Глотая туманный и стойкий
Бензинный угар на ходу,
Меж Марсовым полем и садом
Михайловским, мимо былых
Конюшен, широким обхватом
Державших лошадок лихих.

Пойдем же! Чем больше названий,
Тем стих достоверней звучит,
На нем от решеток и зданий
Тень так безупречно лежит.
С тыняновской точной подсказкой
Пойдем же вдоль стен и колонн,
С лексической яркой окраской
От собственных этих имен.

Пойдем по дуге, по изгибу,
Где плоская, в пятнах, волна
То тучу качает, как рыбу,
То с вазами дом Фомина,
Пойдем мимо пушкинских окон,
Музейных подобранных штор,
Минуем Капеллы широкой
Овальный, с афишами, двор.

Вчерашние лезут билеты
Из урн и подвальных щелей.
Пойдем, как по берегу Леты,
Вдоль окон пойдем и дверей,
Вдоль здания Главного штаба,
Его закулисной стены,

Похожей на желтого краба
С клешней непомерной длины.

Потом через Невский, с разбегу,
Все прямо, не глядя назад,
Пойдем, заглядевшись на реку
И Строганов яркий фасад,
Пойдем, словно кто-то однажды
Уехал иль вывезен был
И умер от горя и жажды
Без этих колонн и перил.

И дальше, по левую руку
Узнав Воспитательный дом,
Где мы проходили науку,
Вдоль черной ограды пойдем,
И, плавясь на шпиле от солнца,
Пускай в раздвижных небесах
Корабль одинокий несется,
Несется на всех парусах.

Как ветром нас тянет и тянет.
Длинноты в стихах не любя,
Ты шепчешь: читатель устанет! —
Не бойся, не больше тебя!
Он, ветер вдыхая холодный,
Не скажет тебе, может быть,
Где счастье прогулки свободной
Ему помогли полюбить.

Пойдем же по самому краю
Тоски, у зеленой воды,
Пойдем же по аду и раю,
Где нет между ними черты,
Где памяти тянется свиток,
Развернутый в виде домов,
И столько блаженства и пыток,
Двузначных больших номеров.

Дом Связи — как будто коробка
И рядом еще коробок.
И дом, где на лестнице робко
Я дергал висячий звонок.
И дом, где однажды до часу
В квартире чужой танцевал.

И дом, где я не был ни разу,
А кажется, жил и бывал.

Ну что же? Юсуповский желтый
Остался не назван дворец
Да словно резинкой подтертый
Голландии Новой багрец.
Любимая! Сколько упорства,
Обид и зачеркнутых строк,
Отчаянья, противоборства
И гребли, волнам поперек!

Твою ненаглядную руку
Так крепко сжимая в своей,
Я все отодвинуть разлуку
Пытаюсь, но помню о ней...
И может быть, это сверканье
Листвы, и дворцов, и реки
Возможно лишь в силу страданья
И счастья, ему вопреки!





ПРЯМАЯ РЕЧЬ

1975

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Что хочешь, я сравню
Со всем, что хочешь. Дело
Не в этом. Как меню,
Мне это надоело.

И тополь — на ходу —
С конем, когда послушно
Идет на поводу,
Сравню, но это скучно.

Хотя б чулки на нем,
Как на стволе известка,
Сверкали, что нам в том?
Так это стало плоско.

Проставлена цена
На стиховых красотах.
Прямая речь одна
Еще проймет кого-то.

Так выбирай слова
И пропускай союзы.
Кружится голова
От многословной музыки.

К виску прижав ладонь,
Разглядывай Петрополь.
А конь откуда? Конь
Тут ни при чем, и тополь.

Я жить бы так хотел,
Чтоб было больше света,
Так, чтобы ты глядел
И одобрял все это.

Как та звезда горит,
Как тот огонь среди ночи...
— Короче,— говорит,—
Прости, еще короче!

* * *

Где улица? Я думал: в Ленинграде.
И медленно я распахнул окно,
А улица как будто в Ашхабаде,
А в Ленинграде только заодно.

В косых лучах земные перекрестки
Пылают так, что больно от щедрот.
А белый тополь, царственный и жесткий,
И впрямь — дитя всех улиц и широт.

Поэзия, ты непереводаима.
И только боль не знает языка
И под стихом течет неутолимо
Одна на всех, подспудная река.

Ты думаешь, что ты стихи читаешь.
Прочтешь строку и, вздрогнув, перечтешь.
Ты руку в боль чужую погружаешь
И горяча ль, на ощупь узнаешь.

КАНАЛ

Вот Грибоедовский канал,
Удобный для знакомства,
Где старый друг меня снимал
Для славы и потомства.

Я здесь, как ангел на лету,
Окутанный туманом,
На узком Банковском мосту
С настилом деревянным.

Четыре чудища одной
Удержаны заботой,
И восемь крыл во мгле сырой
Сверкают позолотой.

Бумажный сор у моего
Носка юлит неслышно.
Со славой, друг мой, ничего,
Пора сказать, не вышло.

Но так прекрасен дом, канал,
Край неба дымно-алый,
Как будто все сбылось, что ждал,
И сверх того, пожалуй.

* * *

В саду, задумавшись бог весть о чем, о ком,
Под Млечным пологом, над кровлей вставшим
дыбом,
Быть остановленным душистым табаком,
Ребристой трубочкой и звездчатым отгибом.

О, не рассеянным, а собранным в струю
Блаженным запахом, ночным, полубезумным.
Вот он врывается, вот рядом я стою,
Вот тень склоняется движением бесшумным.

Граненый, вытянутый, острый, как кристалл —
Мучнистых, сумеречных бабочек услада.
Из жизни выпал я — и к смерти не пристал.
Ты пахнешь памятью, оставь меня, не надо!

Нет утешения! И объяснений нет!
Ни в счастье — повода, ни в боли — утоленья.
Но эта пристальность, но этот белый цвет...
Век длится обморок или одно мгновенье?

* * *

Едкий дымок мандариновой корки.
Колкий снежок. Деревянные горки.
Все это видел я тысячу раз.

Что же так туго натянуты нервы?
Сердце колотится, слезы у глаз.
В тысячный — скучно, но в тысяча первый...

Весело вытереть пальцы перчаткой.
Весело с долькой стоять кисло-сладкой.
Все же на долю досталось и мне
Счастья, и горя, и снега, и смеха.
Годы прошли — не упало в цене.
О, поднялось на ветру, вроде меха!

* * *

На шелковой подкладке зыбь морская.
Широк покрой, и сумрачен фасон.
Несбыточное сбыться принуждая,
Чего мы добиваемся, Язон?

Полоска меж горами и волною,
Захламленная жизнью, так узка:
Покрепче надавить, нажать рукою —
Отвалится, как кромка от куска.

Зачем же я из мрака вызываю
Любимый образ, лезу, как в петлю,
В глухой откат, по смоченному краю
Хожу, как тень, и ракушки давлю.

Возьму одну: зубчатая щербинка,
Сырая сыпь прилипшего песка.
Моя любовь, твоя, Язон, овчинка...
Что не сбылось, что сбудется... Тоска!

* * *

В ресницах — радуга и жизни расслоенье.
Проснешься: блещет мир, засвеченный с углов.
Ты перечтешь меня за этот угол зренья.
Все дело в ракурсе, а он и вправду нов.

Проснешься в комнате, а снился сад полночный.
Как быстро дерево столом замещено,
Накрытым скатертью с узором и цветочной
Пыльцой от тополя, пылящего в окно.

Проснешься в комнате, а мог и на планете
Другой какой-нибудь, а мог и в темноте
Еще дожитнейшей, а мог и на том свете.
Проснешься в комнате, а мог бы и нигде.

Кому мы дороги, что, нас не перепутав,
Как будто должен дать в своих делах отчет,
До пробуждения, в широкий плащ закутав,
Тебя — в твою постель, меня — в мою несет?

И все же поутру, подвернутая с края,
С пушинкой, бьющейся в припадке под столом,
Своя, и все-таки как бы чуть-чуть чужая,
Жизнь представляется счастливей, чем потом.

УРОК ГЕОГРАФИИ

Адриатические волны...
Пушкин

Адриатическое море
Так далеко от нас, вот горе!
В Одессе парусник найдем.
Откуда парусник? Ну ботик.
Ну шлюп. Ну, хочешь, пароходик?
Эвксинский Понт пересечем.

Другие лодки на приколе,
А мы как будто в средней школе
Или лицее, без пальто,
Сбежав с урока, мяч гоняем
И географии не знаем,
И все же помним кое-что.

Босфор пройдем и Дарданеллы,
Соседней Турции пределы,

Семью Эгейских островов
И полетим по вольной воле.
Нам принесет волна в подоле
Медуз, моллюсков и бычков.

В бинокле Крит пройдет пред нами,
Эскадра с темными чехлами,
Чужую пестую страну,
И в Ионическое море
Войдем, качаясь на просторе,
Волну меняя на волну.

О география! Свобода —
Твоя подруга и погода,
А не теченья и моря.
Я из страниц твоих печатных
Наделал птиц бы аккуратных
И рыб, по правде говоря.

Мне тридцать три пробило года
И в самый раз придумать что-то
Поинтереснее любви,
Сменить привычку и масштабы,
Охота странствовать хотя бы,
Как говорят, у нас в крови.

И муза к нам не безучастна.
Ведь чем поэзия прекрасна?
Тем, что по строчке стиховой,
Как по волне, мы лезем в гору.
Такая даль открыта взору —
Бинокль не нужен полевой.

И волны, видя, что печальны,
Нам шепчут:
— Будьте гениальны,
И все устроится у вас.
— Как бы не так,— мы отвечаем.
Но рифму к рифме подбираем
Внимательно, как в первый раз.

Налево — гребни золотые,
Направо — светло-голубые,

Плаща отстегивай крючок,
Рукой Италии махая,
Рассмотришь, круто огибая,
Ее точеный каблучок.

Адриатические волны!
Вбирай в себя, вниманья полный,
И блеск, и тень, и синеву...
Но этот стол прямоугольный,
Но этот ветер своевольный,
Но как похоже на Неву!

Окно сияет ручкой медной.
Мы путь свершили кругосветный.
И что ж? — едва утомлены.
Ведь с картой бег свой не сверяем
И путь домой кратчайший знаем —
С другой, звучащей стороны.

* * *

Знакомство с иностранцами сильней
Привязывает к родине, понятней
Становится она, невероятней,
Неслыханней, жить можно только с ней.
Француженка тебе твердит о том,
Как ветрено в России, как дождливо,
Прекрасно и, должно быть, несчастливо...
Нет, счастливо, но счастье, зная, в другом.

* * *

То веточкой машет в ночной тишине,
То рыщет, прикинувшись бурей:
— А все ли ты знаешь, друг мой, обо мне?
— Догадываюсь,— говорю ей.

И горло мне ночью сжимает рукой:
— К безумью я тоже причастна.
Ну как, хороша я? Не хочешь другой?
— Сказал же тебе: ты прекрасна!

— А как же стихи на печальный манер,
Глухие твои неудачи?
— А я, вообще, неудачный пример.
С другими бывает иначе.

Я сестринской и не хотел бы любви!
Другие мне любви объятья.
Так сдавливай горло и сердце мне рви.
Чтоб жизнью тебя мог назвать я.

* * *

На ночь оставлю стихи на столе,—
Пусть полежат, наберутся ума.
Может быть, гнутая строчка во мгле
Распрямится сама?

Ангелы, музы, ночной ветерок,
Тени, которые бродят вокруг,
Вряд ли до наших спускаются строк.
А все же! А вдруг!

Входит ведь кто-то с улыбкой в наш сон.
О как шаги его ночью легки!
И утешает нас. Может быть, он
Входит в стихи?

Суффикс подкрутит, повертит предлог,
Слово по сходству заменит другим,
Петельку — хвостиком, в слове «порог»
Звонкий — глухим.

Горько и весело жить на земле.
К ней, как листок, я ничем не прижат.
На ночь оставлю стихи на столе.
Пусть полежат.

* * *

Поезд скорость набирал,
Затихал и спотыкался,
И стучать переставал...
Как сова, бесшумно мчался

И опять, опять, опять
С ритма верного сбивался,
Тормозил и поддвигал...
Словно в чем-то сомневался,
Темц старался подобрать
Тот единственный, который
Позволял бы без забот
Так идти, как дождь за шторой,
Зарядив, всю ночь идет.

Поезд скорость набирал,
Рифмовал одни глаголы,
Словно кто-то умирал
От любви: один тяжелый
Способ был его спасти —
Это мчатся, мчатся, мчатся...
Чтоб к подушке мог прижаться
В полуночном забытьи...
Поезд скорость набирал,
Стольких гибелей свидетель,
Всю-то ночь он уверял,
Что никто, никто на свете
От любви не умирал.

* * *

Быть нелюбимым! Боже мой!
Какое счастье быть несчастным!
Идти под дождиком домой
С лицом потерянным и красным.

Какая мука, благодать
Сидеть с закушенной губою,
Раз десять на день умирать
И говорить с самим собою.

Какая жизнь — сходить с ума!
Как тень, по комнате шататься!
Какое счастье — ждать письма
По месяцам — и не дожждаться.

Кто нам сказал, что мир у ног
Лежит в слезах, на все согласен?

Он равнодушен и жесток.
Зато воистину прекрасен.

Что с горем делать мне моим?
Спи. С головой в ночи укройся.
Когда б я не был счастлив им,
Я б разлюбил тебя. Не бойся!

* * *

С утра по комнате кружа,
С какой готовностью душа
Себе устраивает горе!
(Так лепит ласточка гнездо.)
Не отвлечет ее ничто
Ни за окном, ни в разговоре.

Напрасно день блестящ и чист,
Ее не манит клейкий лист,
Ни стол, ни книжная страница.
Какой плохой знаток людей
Сказал, что счастье нужно ей?
Лишь с горем можно так носиться.

* * *

Возьми меня, из этих комнат вынь,
Сдунь с площадей, из-под дворовых арок,
Засунь меня куда-нибудь, задвинь,
Возьми назад бесценный свой подарок!
Смахни совсем. Впиши меня в графу
Своих расходов в щедром мире этом.
Я — чокнутый, как рюмочка в шкафу
Надтреснутая. Но и ты — с приветом!

* * *

Прощай, любовь!
Прощай, любовь, была ты мукой.
Платочек белый приготовь
Перед разлукой
И вытюжь, и скомкай вновь.

Какой пример,
Какой пример для подражания
Мы выберем, какой размер?
Я помню чудное желанье
И пыль гостиничных портьер.

Не помню, жаль.
Не помню, — жаль, оса, впивайся.
Придумать точную деталь
И, приукрася,
Надсаду выдать за печаль?

Сорваться в крик?
Сорваться в крик, в тоске забиться?
Я не привык.
И муза громких слов стыдится.
В окне какой-то писк возник.

Кричит птенец.
Кричит птенец, сломавший шею.
За образец
Прощание по Хемингуэю
Избрать? Простились — и конец?

Он в свитерке,
Он в свитерке по всем квартирам
Висел, с подтекстом в кулаке.
Теперь уже другим кумиром
Сменен, с Лолитой в драмкружке.

Из всех услад,
Из всех услад одну на свете
Г. Г. ценил, раскрыв халат.
Над ним стареющие дети,
Как злые гении, парят.

Прощай, старушка. Этот тон,
Мне этот тон полупристойный
Претит. Ты знаешь, был ли он
Мне свойствен или жест крамольный.
Я был влюблен.

Твоей руки,
Твоей руки рукой коснуться

Казалось счастьем, вопреки
Всем сексуальным революциям.
Прощай. Мы станем старики.

У нас в стране,
У нас в стране при всех обидах
То хорошо, что ветвь в окне,
И вздох, и выдох,
И боль, и просто жизнь — в цене.

А нам с тобой,
А нам с тобой вдвоем дышалось
Вольней, и общею судьбой
Вся эта даль и ширь казалась —
Не только чай и час ночной.

Отныне — врозь.
Припоминаю шаг твой встречный
И хвостик заячий волос.
На волос был от жизни вечной,
Но — сорвалось!

Когда уснем,
Когда уснем смертельным, мертвым,
Без воскрешений, общим сном,
Кем станем мы? Рисунком стертым.
Судьба, других рисуй на нем.

Поэты тем
И тяжелы, что всенародно
Касаются сердечных тем.
Молчу. Мне стыдно. Ты свободна.
На радость всем.

«Любовь свободна. Мир чаруя,
Она законов всех сильней».
Певица толстая, ликуя,
Покрыта пудрой, как статуя.
И ты — за ней?

Пускай орет на всю округу.
Считаться — грех.
Помашем издали друг другу.
Ты и сейчас, отдернув руку,
Прекрасней всех!

* * *

Мир этот выпуклый, сферическая высь,
Вдаль уходящая холмистая дорога
И клен взъерошенный... Не говорю: продлись,
Но с замиранием: прогнись еще немного.

Мираж не выловить, и призрак не обнять.
Прощай, любимая! Теперь блесни другому.
Неси, как облако, развившуюся прядь,
Обману близкая, но чуждая объему.

Я тень преследовал, у женщины просил
То понимания, то выгнутой улыбки,
А счастье, вот оно: как будто кто открыл
Второе зреньё мне — и мир качнулся зыбкий,

Прямолинейный шрифт переводя в курсив.
Иль это стеклышко, прогнувшись, виновато,
Прощанье горькое в прощенье превратив?
Или воистину разлука так поката?

* * *

Закончим среди снегопада,
А начали путь под дождем,
Покуда от Летнего сада
До Зимней канавки дойдем.
В снегу нержавеющей тополь
Зеленые листья растряс.
О город, о темный некрополь
Погод, обнимающих нас!

* * *

Еще люблю лепной карниз,
Цветы и маски на фасаде.
Стрижи, ныряющие вниз,
В речной купаются прохладе.
Шумит подвижная листва,

И гневом полнится и страстью
Слепая, в оспе, маска льва
С набитой веточками пастью.

Еще я знаю некий двор
Прямоугольный, с круглой башней.
Еще известен мне узор
Решетки в садике домашнем.
Еще Лукомский мне открыл
Красу Пеньковского Буяна.
Еще изгиб литых перил
Я достаю, как из кармана.

* * *

Ни мучительных зорь нестерпимых,
Ни смущающих душу комет
В небесах, легким ветром гонимых,
Не видать: чего нет, того нет!

Отсверкав, отпылав перед теми,
Кто от них загорался и гас,
Словно при травопольной системе,
Небеса отдыхают при нас.

В них — то чудно, то — хмуро и смутно:
Безответственность и благодать!
Без подсказки живется нам трудно,
И самим нам за все отвечать.

В КАФЕ

В переполненном, глухо гудящем кафе
Я затерян, как цифра в четвертой графе,
И обманут вином тепловатым.
И сосед мой брезглив и едой утомлен,
Мельхиоровым перстнем любитесь он
На мизинце своем волосатом.

Предзакатное небо висит за окном
Пропускающим воду сырым полотном,
Луч, прорвавшись, крадется к соседу,

Его перстень горит самоварным огнем.
«Может, девочек,— он говорит,— позовем?»
И скучает: «Хорошеньких нету».

Через миг погружается вновь в полутьму.
Он молчит, так как я не ответил ему.
Он сердит: рассчитаться бы, что ли?
Не торопится к столику официант,
Поправляет у зеркала узенький бант.
Я на перстень гляжу поневоле.

Он волшебный! Хозяин не знает о том.
Повернуть бы на пальце его под столом —
И, пожалуйста, синее море!
И коралловый риф, что вскипал у Моне
На приехавшем к нам погостить полотне,
В фиолетово-белом уборе.

Повернуть бы еще раз — и в Ялте зимой
Оказаться, чтоб угольщик с черной каймой
Шел к причалу, как в траурном крепе,
Снова луч родничком замерцал и забил,
Этот перстень... На рынке его он купил,
Иль работает сам в ширпотребе?

А как в третий бы раз, не дыша, повернуть
Этот перстень — но страшно сказать что-нибудь:
Все не то или кажется — мало!
То ли рыжего друга в дверях увидеть?
То ли этого типа отсюда убрать?
То ли юность вернуть для начала?

* * *

Италия Сильвестра Щедрина
В приподнятых волнах отражена
И нежится, серебряная нимфа.
Пора в стихах оставить щегольство,
Но с живописью нас томит родство,
И, как волна, подкатывает рифма.

Италия! Как нам пробраться к ней?
Ведь на пути навалено камней

Побольше, чем в окрестностях Сорренто.
Нам говорят: вторичен ваш подход.
Как если б мы могли забраться в грот,
Дождавшись подходящего момента!

* * *

Проснусь — не пойму поначалу,
Куда я лежу головой.
Как будто меня укачало
В тяжелой дороге ночной.
Как будто меня оглушили
Настойкой, отравой из трав.
Как будто меня раскружили,
Салфеткой глаза завязав.

Где двери? И окна? И стены?
Об угол ударившись лбом,
В себя прихожу постепенно
И вот понимаю с трудом:
Душа возвращается в тело
И в спешке, набегавшись всласть,
В ту лунку, где прежде сидела,
Как в лузу, не может попасть.

* * *

Я книгу опустил — и выронил закладку.
Мне на руку в стихах играет и пустяк!
Неужто променять угрюмую повадку
На лирики общедоступный флаг?

Не помню, где читал. Нагнулся, поднял с пола,
Верчу ее в руке... И странно: в этот миг
Луч комнату пронзил, и в сердце закололо.
Не спрятать этот блеск, не вычитать из книг.

Подробнее еще! И тополь залит блеском,
И в комнате диван мерцанием облит:
Ни сесть нельзя, ни лечь, и в свете этом резком
Нет места для тоски, желаний и обид.

Да и о чем жалеть, когда в сиянье этом
Предметы под рукой утрачивают цвет:
И черный переплет пленяет синим цветом,
А синий переплет в зеленое одет?

Ни слова о любви! Но все об этом блике,
Похожем на печать размытую с гербом.
Жизнь выхвачена так, как шрифт с разрядкой —
И высвечена так, что слезы ни при чем. в книге,

* * *

Люблю глаза твои с лиловой синевой.
И впрямь фиалковый, оттенок их так редок.
Хоть это, может быть, просвечивает слой
В фусцин окрашенных эпителиальных клеток.

Но боль, которую внушают мне они,
И память, связанную с морем и брезентом,
Не снимешь знанием, доступным в наши дни.
И суть страдания не объяснишь пигментом.

БЕЛЫЕ НОЧИ

Пошли на убыль эти ночи,
Еще похожие на дни.
Еще кромешный полог, скорчась,
Приподнимают нам они,
Чтоб различали мы в испуге,
Клонясь к подушке меловой,
Лицо любви, как в смертной муке
Лицо с закушенной губой.

* * *

Вбежал на холм и задохнулся:
Направо — синий лес тянулся,
Вблизи — чернели пни,

Бежал ручей в кустах зеленых,
Люпины в желтых балахонах,
Шиповник огненный на склонах.
 Боярышник в тени.

Полуотцветшая синюха,
Медвежье войлочное ухо,
 Цикорий голубой.
Без дел не делающий шагу,
Из глаз давно изгнавший влагу,
Сны выносящий на бумагу,
 Ты вздрогнул! Что с тобой?

Тому назад еще мгновенье
Жизнь вызывала отвращенье,
 Прельщала смерть одна.
И вдруг — как выход из неволи,
Освобождение от боли:
То ли цветы такие, то ли
 Размер «Бородина»?

* * *

Овеет тишиной и лесом темнокрылым.
Но я ее боюсь. Она мне не по силам.

Пружинит под ногой затопленный настил.
Есть силы на тоску,— на облачко нет сил.

И яркий василек на срезе известковом
Мне сердце голубым сжимает и лиловым.

Припасть к ее груди — потребует в ответ
Невыплаканных слез, которых больше нет.

* * *

Перерастает человек
Земную жизнь свою.
Он попадает, словно снег,
В воздушную струю.

И видит в ракурсе другом,
Летя во тьме ночной,
Себя сидящим за столом
Наедине с бедой.

И, раздвигая эту ночь
Движением крыла,
Он видит, как себе помочь,
Как выправить дела.

Но, видно, там, на высоте,
Среди воздушных ям,
Он охладел к своей беде
И поостыл к делам.

* * *

Кому-то в помощь жизнь твоя.
Он вызывает ночью, где-то,
Тебя из тьмы и забытья.
Благодари его за это.

И ты бы помощи просил,
Хоть слова доброго, хоть взгляда,
Да он тебя опередил.
Зато тебе кричать не надо!

* * *

В тот год я жил дурными новостями,
Бедой своей, и болью, и виною.
Сухими, воспаленными глазами
Смотрел на мир, мерцавший предо мною.

И мальчик не заслуживал вниманья,
И дачный пес, позевывавший нервно.
Трагическое мирозерцанье
Тем плохо, что оно высокомерно.

* * *

Та музычка, мотивчик тот,
За мною бегавший весь год,
Отстал — и сразу тихо стало!
К чему бы это? Хвать-похвать,
А где любовь? А не слышать!
Вчера была и вдруг — пропала.

Так у великих катастроф —
Землетрясений, ледников —
Есть спутник темный, признак дальний.
Пустяк какой-нибудь, штришок,
Так, кое-кто, один дружок,
Сверчок, сморчок, браток нахальный.

* * *

Души потрачено так много
Бог знает на кого, зачем?
А эта зимняя дорога,
На ней не встретишься ни с кем.

Среди февральского тумана
Сквозит осинник, пуст и наг.
Но экономить тоже странно.
Да и на чем? И можно ль так?

Чугунный мостик в два пролета.
Душа опять среди ветвей
Мечтает высмотреть кого-то:
Еще помучиться бы ей!

* * *

Взметнутся голуби гирляндой черных нот.
Как почерк осени на пушкинский похож!
Сквозит. Спыхватишься и силы соберешь.
Ты старше Моцарта. И Пушкина вот-вот
Переживешь.

Друзья гармонии, смахнув рукой со лба
Усталость мертвую, принять беспечный вид
С утра стараются. И все равно судьба
Скупа, слепа,

К ним беспощадная. Зато тебя щадит.

О, ты-то выживешь! Залечишь — и пройдет.
С твоею мрачностью! Без слез, гордясь собой,
Что сух, как лед.
А эта пауза, а этот перебой —
Завалит листьями и снегом заметет.

С твоею тяжестью! Сырые облака
По небу тянутся, как траурный обоз,
Через века.
Вот маска с мертвого, вот белая рука —
Ничто не сгладилось, ничто не разошлось.

Они не вынесли. Им не понятно, как
Живем до старости, справляемся с тоской,
Долгами, нервами и ворохом бумаг...
Музейный узенький рассматриваем фрак,
Лорнет двойной.

Глядим во тьму.
Земля просторная, но места нет на ней
Ни взмаху легкому, ни быстрому письму.
И все ж в присутствии их маленьких теней
Не так мучительно, не знаю почему.

* * *

Исследовав, как Критский лабиринт,
Все закоулки мрачности, на свет
Я выхожу, разматывая бинт.
Вопросов нет.

Подсохла рана.
И слезы высохли, и в мире — та же сушь.
И жизнь мне кажется, когда встаю с дивана,
Улиткой с рожками, и вытекшей к тому ж.

От Минотавра
Осталась лужица, точнее, тень одна.
И жизнь мне кажется отложенной на завтра,
На послезавтра, на другие времена.

Она понадобится там, потом, кому-то,
И снова кто-нибудь, разбуженный листвой,

Усмотрит чудо
В том, что пружинкою свернулось заводной.

Как в погремушке, в раковине слуха
Обида ссохшаяся дням теряет счет.
Пусть смерть-старуха
Ее оттуда с треском извлечет.

Звонит мне под вечер приятель, дую в трубку.
Плохая слышимость. Все время рвется нить.
«Читать наскучило. И к бабам лезть под юбку.
Как дальше жить?»

О жизнь, наполненная смыслом и любовью,
Хлынь в эту паузу, блесни еще хоть раз
Страной ли, музою, припавшей к изголовью,
Постой у глаз

Водою в шлюзе,
Все прибывающей, с буксиром на груди.
Высоким уровнем. Системою иллюзий.
Еще какой-нибудь миражик заведи.



СОДЕРЖАНИЕ

<i>Д. Лихачев. Кратчайший путь</i>	3
--	---

ГОЛОС. 1978

РВАННЫЕ СТРОФЫ

На пути из Петрокрепости	14
Окна	15
«Паутина под ветром похожа...»	16
«Я делал контурные карты...»	17
С английского	18
Дунай	19
Руины	19
«Слово «нервный» сравнительно поздно...»	21
«Я шел вдоль припухлой тяжелой реки...»	22
«Времена не выбирают...»	22
Разговор в прихожей	23
Портрет	24

ВЫСОКАЯ НОТА

«Голос — это работа души...»	27
«Заснешь и проснешься в слезах от печального сна...»	27
«Сквозняки по утрам в занавесках и шторах...»	28
«Мозг ночью спит, как сад в безветрии...»	29
«Придешь домой, шурша плащом...»	30
«Вот женщина: пробор и платья вырез милый...»	31
«Я в трубку телефонную кричу...»	31
«О космос в угольных мешках...»	31
«Над кустом...»	32
Мужчина с розой	33
Воспоминание о любви	34
«Любил — и не помнил себя, пробудясь...»	34

«Испорченные с жизнью отношенья...»	35
Куст	36
«Мне показали праведника. Он...»	37
«Какое чудо, если есть...»	38
«Рай и ад с атрибутами...»	38

СЛОЖИВ КРЫЛЬЯ

Пирь	39
«На скользком кладбище, один...»	40
«И после отходной, не в силах головы...»	41
«Ребенок ближе всех к небытию...»	41
«Быть классиком — значит стоять на шкафу...»	42
«Контрольные. Мрак за окном фиолетов...»	43
Посещение	43
В вагоне	47
Восточный узор	
1. Флейтист	48
2. Иранские миниатюры	48
3. «Я не люблю Восток, не понимаю...»	49
4. «Загробное блаженство фараона...»	50
5. Подражание древним	50
Кружево	51
«Был туман. И в тумане...»	52
«Кладбищенских стихов тяжелое паренье...»	53
Сложив крылья	54
«Сентябрь выметает широкой метлой...»	55

ЗВУКОВАЯ ВОЛНА

«Невы прохладное дыханье...»	56
«С той стороны любви, с той стороны смертельной...»	56
Мореплавание	57
Прогулка	58
Ветвь	59
«Там — льдистый занавес являет нам зима...»	59
«Не о любви — о шорохе высоком...»	60
«Блеск такой — не нужна никакая цветочная Ницца...»	61
«Как клеп и рябина растут у порога...»	61
«Если камешки на две кучки спорных...»	62
«И пыльная дымка, и даль в ореоле...»	62
Волна	63

ТАВРИЧЕСКИЙ САД. 1984

НА ЯЗЫКЕ ЛИСТВЫ

«Небо ночное распахнуто настезь — и нам...»	68
«Ночной листвы тяжелое дыханье...»	68
Ночная бабочка	69
«Ах, эта ночь, этот плащ на железном гвозде...»	69
«За что? За ночь. За яркий по контрасту...»	70
«Спи, спи... Пока ты спишь, я буду у стола...»	71
«О чем говорил я? Ведь смертные наши слова...»	71
«По рощам блаженных, по влажным зеленым холмам...»	72

ТАВРИЧЕСКИЙ САД

«Страна, как туча за окном...»	73
«Нет лучшей участи, чем в Риме умереть...»	73
«В тридцатиградусный мороз представить света...»	74
«Ваш выход — на мороз, и зрители выходят...»	75
Снег	75
«На петербургских старинных гравюрах...»	76
Таврический сад	77
«На всех людей, что жили на земле...»	77
«Что мне весна? Возьми ее себе!...»	78
Павловск	78
«И в следующий раз я жить хочу в России...»	79

ПОД БУРЕЙ, ПОД ВЕТРОМ

«Любовь, уступчивость, боязнь обидеть словом...»	80
«Любовь не связана с благоустройством...»	80
«Какая-то птица спросонок в гнезде встрепенулась...»	81
«Стихи, в отличие от смертных наших фраз...»	81
«Твой голос в трубке телефонной...»	82
«И нашу занятость, и дымную весну...»	82
«Мне снился сон: ты в тамбуре с другим...»	83
«В одном из ужаснейших наших...»	84
«Какой-то волосок мешает говорить...»	84
«На берегу реки, название которой...»	85
«И хотел бы я маленькой знать тебя с первого дня...»	85
«Когда я у полки, одну выбираю из книг...»	86
Ночь	86
«Как можно на лилию долго смотреть, любоваться...»	87
«Среди ночных полей, покатыми холмами...»	87

ЕМУ НУЖНЫ ВЕКА...

«На выбор смерть ему предложена была...»	89
Сон	89
«Я знаю, почему в Афинах или Риме...»	90
«Как пуговичка, маленький обол...»	90
«Когда шумит листва, тогда мне горя мало...»	91
«Какой, Октавия, сегодня ветер сильный!...»	91

ПО ЭТУ СТОРОНУ

Весна	93
«Орнитолог, рискующий ласточку окольцевать...»	93
«Как уголь чистит белых лошадей...»	94
«Полнеба заволок подробный материк...»	94
«Пойдем! Поедем! — говорят...»	95
«По эту сторону таинственной черты...»	95
«Не из всякого снега слепить удастся снежок...»	95
«Прости, волшебный Вавилон...»	96
«Как буйно жизнь кипит на стенках саркофага!...»	96

КАК ВСЕ ИЗМЕНЧИВО...

«То, на что не надеешься, предпочитает сбываться...»	98
Банкет	98
«Словно войлоком снизу подбитый, колючий, зубчатый...»	99
«Вы, облако и сад...»	100
«И если спишь на чистой простыне...»	101
«И дару своему взрослеющий художник...»	101
«Нет, не вы всех счастливей, а этот, в вагонном окне...»	102
«Мне кажется, что жизнь прошла...»	102
«Жизнь кончилась, а смерть еще не знает...»	103
«Что шума деревьев просторней и шире?...»	103

БЕССОННОЕ, ШУМИ!

«Кто первый море к нам в поэзию привел...»	105
Флейтист	106
«Машина вдоль пляжа бежит у волны на виду...»	106
«Когда впервые мы с тобой...»	107
«Эти камешки, кажется, ждут своего Демосфена...»	108
«Заветные стихи про южный берег, ночью...»	108
«Мы спорили, вал белопенный был нашему спору под стать...»	109

В НОВОМ РАКУРСЕ

Пчела	110
«Весь день ботаникою занята пчела...»	110
«Песчинки, камешки, клочки сухой резины...»	111
«Партитура, с неровной ее бахромой...»	112
«А воз и ныне там, где он был найден нами...»	112
«Сегодня грустно мне: вчера я счастлив был...»	113
Вырица	114
«Всё на стайку бы рыбок смотрел...»	115
«Как бабочка, как бабочка ни разу...»	116
«Хлебом меня не корми, но позволь заглянуть...»	117

ОБЩИЙ ЗАМЫСЕЛ

«Эта тень так прекрасна сама по себе под кустом...»	118
«Букет шиповника садового...»	118
«К спине быка прикручена красotka...»	119
Пан	120
«Ах, сколько уловов! И дождь, вытирая слезу...»	120
«И где бы я ни жил, в квартире подо мною...»	121
«Почему одежды так темны и фантастичны?»	122
«Камни кидают мальчишки философу в сад...»	122

ВСЬ ЭТОТ МИР...

«Весь мир, весь этот мир, весь этот...»	124
«Никем, никем я быть бы не хотел...»	124
«А в Мойке, рядом с замком Инженерным...»	125
«Путешественник видит в конце поездки...»	126
«Я в Грузии. Я никого не знаю...»	126
«В горной Грузии, кажется, черных, как смоль, поросят...»	127
«Кавказской в следующей жизни быть пчелой...»	128
«На узбекском базаре такая является мысль...»	128

ПЯТАЯ СТИХИЯ

«Бессмертие — это когда за столом разговор...»	130
«Ты здесь, поблизости... Скажи, когда распался...»	130
«Мне весело, что Бакст, Нижинский, Бенуа...»	131
«В этом мире плотном, волокнистом...»	131
«Вот статуя в бронзе, отлитая по восковой...»	132
«Поэзия — явление иной...»	133
«В полуплаще, одна из аонид...»	133
«Есть музыка в прибрежном тростнике...»	134
Пулково	134

ДНЕВНЫЕ СНЫ

«Горячая зима! Пахучая! Живая!...»	136
«Наш северный модерн, наш серый, молодой...»	136
«Каморка лифта тащится, как бы везет в гору...»	137
«Театр, театр! Как скучно мне любить...»	138
«В тот час, как известно, когда император встает...»	138
Павловск	139
«Сирень персидская стоит, как облака...»	140
Тополь	141
«Неужели увижу сегодня, не может быть...»	141
«Пусть день наш жестк и зимы белокуры...»	142
Ревность	142
«Кто едет в купе и глядит на метель...»	143
Перед войной. Воспоминания	144
«Тысячелетие тому назад... заря...»	144
Ель	145
«Но ты не холоден, увы, и не горяч...»	146
«Окученный картофель в белой пене...»	146
«Как мы в уме своем уверены...»	147
«Бык-миногавр, через скакалку прыгающий...»	147
Гладиолусы	148
«Без этой краски, приливающей...»	149
«Человек свою жизнь вспоминает под старость, как сон...»	150
Микеланджело	150
Белые стихи	150
«Из ратных двух вождей Барклай выбрал он...»	152
«Телевизор, тебя я не стану, не стану ругать...»	153
«Все гудел этот шмель, все висел у земли на краю...»	154
«Слова, слова, слова... но где еще в блестящих...»	154
«Зарыться в ночь, во тьму ее и складки...»	155
«А то, что было не для взора...»	155
Дождь	156
«Если б жить, никого не любя!..»	156
«Любовь — зависимость. Все мученики этой...»	157
«Вот счастье — с тобой говорить, говорить, говорить!..»	158
«Страх и трепет, страх и трепет, страх...»	158
«Смотри: речной валун как бы в сплошном дыму...»	159
«Так видели всё одинаково: вещи, людей...»	159
Стол	160
«Что за радость — в обнимку с волной...»	160
«Всю ночь, как зверь, ревет за тростником...»	161
«Кусты кончаются, а там бредет по пляжу...»	161
«Как тень, но белая, проходит пароход...»	162
«Где воздух, где вода? — все стало белым паром...»	162

«Из моря вытащив, поджаривают мидий...»	163
«Морем с двенадцатого этажа...»	163
«Такая на море зеленая полоска!..»	164
«Как пахнет эвкалипт пицундский, придорожный...»	164
«А горы — то их нет, то вот они опять...»	165
Развернутый узор	
1. Перед статуей	166
2. «Цезарь, Август, Тиберий, Калигула, Клавдий, Нерон...»	166
3. «Перевалив через Альпы, варварский городок...»	167
Предметная связь	
1. «Низкорослой рюмочки пузатой...»	167
2. «Тарелку мыл под быстрою струей...»	168
3. «Есть вещи: ножницы, очки, зонты, ключи...»	168
Общее дыханье	
1. «Зародышевый лист так плоск, но, желобком...»	169
2. «Биолог мне ланцетника покажет...»	170
3. «Вот кто поработал во славу науки — горох!..»	171
4. «По дорожке садовой ходить...»	171
5. «Представь себе: еще кентавры и сирены...»	172
«С тем и не встретился, с кем встреча ничему...»	172
«Другие дети ведь и жены же не те!..»	173
«А вы, стихи, дневные сны в лучах...»	173
«Обещаю тебе, что твой след на прибрежном песке...»	174
«Гудок пароходный — вот бас; никакому певцу...»	174
«За дачным столиком, за столиком дощатым...»	175
«В объятых августа, увы, на склоне лета...»	175
«Покуда кто-то спит, на стол облокотясь...»	176
«В лазурные глядятся озера!..»	177
«Двум поэтам в комнате одной...»	177
«В любительском стихотвореньи огрехи страшней, чем грехи...»	178

ИЗ КНИГ 1962—1975 ГОДОВ

ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ. 1962

«Когда я очень затоскую...»	180
Комната	180
Вводные слова	181
«Прозаик прозу долго пишет...»	181
«Разлуки наши дольше и трудней...»	182
На пароходе	182
На телеграфе	183
Чужое горе	184
Два мальчика	184
Рисунок	185

Над микроскопом	186
«Там, где на дне лежит улитка...»	186
«Влюбляясь в мира дивную красу...»	187
Жонглер	187
Осень	188
Ночные купанья	189
Графин	189
Стакан	190
«Когда я мрачен или весел...»	190
Фонтан	191

НОЧНОЙ ДОЗОР. 1966

«Я видел подлость и беду...»	192
Ласточка	192
«Звезда над кронами дерев...»	193
Простые тяжести земли	
1. «Раз десять поправишь рукой...»	193
2. «Не жить уверенно и четко!...»	194
3. «Где ищем? В спальне, и в столовой...»	194
Вторая профессия	194
«Желтоватый и недужный...»	195
«Изнанка листьев такова...»	196
«Декабрьским утром черно-синим...»	196
«О здание Главного штаба!...»	197
Старик	197
Пластинка	198
Шашки	199
«Мрачнее с каждым днем...»	200
«Эти сны роковые — вранье!...»	201
«Бог семейных удовольствий...»	201
День рожденья	202
Велосипедные прогулки	203
«Не занимать нам новостей...»	203
«Уехав, ты выбрал пространство...»	204
«В Тарту, в темном ресторане...»	205
«Над парком, весело шумящим...»	206
Ночной дозор	206
«Эти бешеные страсти...»	207
Гофман	208
Два наводнения	208
Монтень	209
«Никогда не наглядеться...»	210
«Я в плохо проветренном зале...»	210
«Танцует тот, кто не танцует...»	211

«По сравненью с приметами зим...»	211
«У природы, заступницы всех...»	212
«Бог с ней, с любовью, лишь бы снова...»	213
«Октябрь. Среди полян и просек...»	214
«Чего действительно хотелось...»	214
Ночное бегство	215
«Но и в самом легком дне...»	216
«Два лепета, быть может бормотанья...»	216

ПРИМЕТЫ. 1969

«То, что мы зовем душой...»	218
«Свежеет к вечеру Нева...»	219
«Нет, не одно, а два лица...»	220
«Какая разница...»	220
«При всем таланте и уме...»	221
«Среди знакомых ни одна...»	221
Разговор	222
Этот вечер свободный	222
«Он встал в ленинградской квартире...»	223
«Когда тот польский педагог...»	224
Поклонение волхвов	224
«Пусть кто-то в ней жизнь узнает...»	225
Два голоса	226
В поезде	227
«Жить в городе другом — как бы не жить...»	228
Памяти Анны Ахматовой	228
«Вижу, вижу спозаранку...»	229
Венеция	230
«Четко вижу двенадцатый век...»	230
«В деревьях — ужас нежитья...»	231
«Крутить колесико бинокля...»	231
Сирень	232
Стог	233
«Я был в тот вечер вкрадчивою тенью...»	234
«Старинный с бронзой комод...»	235
«Еще чего, гитара!...»	235
Весна	236
«Жизнь чужую прожив до конца...»	236
«Казалось бы, две тьмы...»	237
«На Мойке жил один старик...»	237
«Нам со спины изобразит...»	238
«Зачем Ван Гог вихребразный...»	238
Путешествие	239

«Читая шинельную оду...»	240
Приметы	240
«В саду ли, в сыром перелеске...»	241
«Вот сижу на шатком стуле...»	242
«Когда ты в Павловском дворце...»	242
«И если в ад я попаду...»	243
«Еще печаль легка, легка...»	243
«Ни вину, ни письму...»	244
«Друг, наудачу...»	244
«Скатерть, радость, благодать!...»	245

ПИСЬМО. 1974

«Эти вечные счета, расчеты, долги...»	247
«Снег подлетает к ночному окну...»	248
«У меня зазвонил телефон...»	248
Ход жизни	249
«В отделе оптики в аптеке...»	250
Сон	250
«Покров любви, расписанный цветами...»	252
«Кто-то плачет всю ночь...»	252
«Человек привыкает...»	253
«Конверт какой-то странный, странный...»	254
Лавр	254
«Никак не вспомнить было, где...»	255
Отказ от поэмы	256
Три стихотворения	
1. «У счастливой любви не бывает стихов...»	258
2. «Еще ты вспомнишь обо мне...»	258
3. «Не любящим нас так не жить...»	259
«Ну прощай, прощай до завтра...»	259
«В отчаянье горьком прильнуть...»	259
«Я к ночным облакам за окном присмотрюсь...»	260
«Расположение вещей...»	260
«Потрясенная, видит душа...»	261
«Почему бы в столе, где хранят...»	261
«Пришла ко мне гостья лихая...»	262
«Какое счастье, благодать...»	262
Ночной парад	263
«Уходит лето. Ветер дует так...»	264
«О слава, ты так же прошла за дождями...»	265
«Потому и порядок такой на столе...»	265
«В петропавловском холоде снятся Петру...»	266
Вместо статьи о Вяземском	267
Пойдем же вдоль Мойки, вдоль Мойки	268

Прямая речь	271
«Где улица? Я думал: в Ленинграде...»	272
Канал	272
«В саду, задумавшись бог весть о чем, о ком...»	273
«Едкий дымок мандариновой корки...»	273
«На шелковой подкладке зыбь морская...»	274
«В ресницах — радуга и жизни расслоенье...»	274
Урок географии	275
«Знакомство с иностранцами сильнее...»	277
«То веточкой машет в ночной тишине...»	277
«На ночь оставляю стихи на столе...»	278
«Поезд скорость набирал...»	278
«Быть нелюбимым! Боже мой!...»	279
«С утра по комнате кружа...»	280
«Возьми меня, из этих комнат вынь...»	280
«Прощай, любовь!...»	280
«Мир этот выпуклый, сферическая высь...»	283
«Закончим среди снегопада...»	283
«Еще люблю лепной карниз...»	283
«Ни мучительных зорь нестерпимых...»	284
В кафе	284
«Италия Сильвестра Щедрина...»	285
«Проснусь — не пойму поначалу...»	286
«Я книгу опустил — и выронил закладку...»	286
«Люблю глаза твои с лиловой синевой...»	287
Белые ночи	287
«Вбежал на холм и задохнулся...»	287
«Овеет тишиной и лесом темнокрылым...»	288
«Перерастает человек...»	288
«Кому-то в помощь жизнь твоя...»	289
«В тот год я жил дурными новостями...»	289
«Та музыка, мотивчик тот...»	290
«Души потрачено так много...»	290
«Взметнется голуби гирляндой черных нот...»	290
«Исследовав, как Критский лабиринт...»	291

Кушнер А.

К 96 Стихотворения/Предисл. Д. С. Лихачева.— Л.:
Худож. лит., 1986.— 304 с., 1 л. портр.

В книгу известного советского поэта Александра Кушнера вошли его стихотворения из книг «Ночной дозор», «Письмо», «Прямая речь», «Голос», «Таврический сад» и др.

К $\frac{4702010200-056}{028(01)-86}$ 79-86

ББК 84. Р7

Александр Семенович Кушнер

СТИХОТВОРЕНИЯ

Редактор *Р. Белло*
Художественные редакторы *В. Куприянов, М. Шафрова*
Технический редактор *Н. Литвина*
Корректор *Л. Никульшина*

ИБ № 3531

Сдано в набор 30.05.85. Подписано в печать 20.12.85. М 27517. Формат 84×
×108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Гарнитура «Литературная». Печать высокая.
Усл. печ. л. 15,96+0,05 вкл.=16,01. Усл. кр.-отт. 16,01. Уч.-изд. л. 14,43+
+1 вкл.=14,48. Тираж 25 000 экз. Изд. № ЛШ—74. Заказ № 605.
Цена 1 р. 70 к. Ордена Трудового Красного Знамени издательство
«Художественная литература», Ленинградское отделение. 191186, Ленинград,
Д-186, Невский пр., 28. Ленинградская типография № 2 головное предприятие
ордена Трудового Красного Знамени Ленинградского объединения «Техни-
ческая книга» им. Евгении Соколовой Союзполиграфпрома при Государствен-
ном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
198052, г. Ленинград, Л-52, Измайловский проспект, 29

